



Роман Воронов

# НЕНУЖНЫЙ ХРАМ

12+

# Роман Воронов

## «Ненужный» Храм

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=68025430](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68025430)*

*SelfPub; 2022*

### Аннотация

– Почему редко приходишь в Храм ко Мне? – спросил Господь у крестьянина.

– Некогда мне, – ответил тот. – Я все время в поле добываю хлеб насущный.

Тот же вопрос задал Господь торговцу, и ответом Ему было возмущение последнего:

– Как оставить лавку без присмотра? Кругом одни воры.

Обратился тогда Господь к калеке, что милостыню просит.

– Вот ты, сирий, рядом с храмом каждый день, а никогда не заходишь.

– Помилуй, Господь-батюшка, ведь подают у входа, а внутри сами просят.

Смилостивился под человеками Господь и поместил Храм в сердце каждому, дабы не ходить в Него, но быть Им. И стал тогда Храм... совсем ненужным.

# Содержание

«Ненужный» Храм	4
В сиянье Имени Его	13
Древо, которое решило не цвести	24
Дева с «каменным» лицом	34
Забавы святых	42
Небеса Не обетованные	54
Две руки Кармы	63
В ожидании	70
Золотая Птица	78
Шар на песке	94
Черные одежды	105
Три кита	115
Время не пришло	125
Отражение	136
На развалинах	147

# Роман Воронов «Ненужный» Храм

## «Ненужный» Храм

*Дитя человеческое рождается в крике  
Мысль Божественная – в тишине.*

Мы бредем друг за другом, понунив головы, опустив плечи, с мрачными лицами и дрожащими коленями, распухшие, кто от вечного голода, кто от сиюминутного изобилия, босые даже в обуви, слепцы при здоровых очах, и только нарушает гнетущую тишину чавканье под нашими ногами размокшей от слез земли, а впереди – ряженные с хоругвями в дыму качающихся кадил и песнопений оставшейся веры уже повернули за угол Храма, втягивая людской «хвост» в грядущую неизвестность, во Имя Господа нашего, Иисуса. Те же, кто стоит у восточной стены, видят нас, идущих с запада, уже не с хоругвями, но с копьями, да не в дыму кадил, а в чадугу пожарищ, что оставили за спинами своими, прикрытыми латами и остроглазыми лучниками, не знающими промаха и не ведающими пощады ни для чужих, ни для своих, с крестами на знаменах и боевыми воплями, конечно же, во Имя Господа нашего, Иисуса. Разорив и уничтожив все на своем

пути, а тех, кто остался жив, прихватив с собой, завершаем крестный ход (или крестовый поход) при Храме у главного входа с победными речами и обоюдным лобзанием.

Таков наш мир, с четырьмя сторонами света, таков наш Храм, о четырех углах. Мы покидаем его до следующего хода, но на ступенях остались четверо. Первый, согбенный, но жилистый обладатель крепких, натруженных рук и житейской мудрости, имя которому Пахарь, восклицает, глядя на расходящихся:

– Но ветров-то не четыре, помимо южного и северного есть и северо-западный и, например, юго-восточный, а стало быть, еще четыре стороны у света. – И он «сносит» углы Храма и «достаивает» недостающие стены. – Восьмиугольным Дом наш должен быть, – кричит он уже в пустоту, все разошлись.

– Тысяча чертей тебе в глотку! – хрипло обрывает Пахаря, закашлявшись от крепкого табака и опомнившись (все-таки у стен Храма), перекрестясь на образа, старый Лоцман, рыжебородый морской волк, раскачивающий свою грузную тушу даже на твердой земле, видимо, скучая по привычной стихии. – Как тебе, земляная коряга, зюйд-зюйд-вест или, к примеру, норд-норд-ост. «Руби» стены, их должно быть шестнадцать, коли мы начали считать ветра, или не видать мне больше черного тумана у мыса Горн.

– Друзья, – примирительно разводит спорщиков облаченный в белую тунику Архимед, – ваша полемика есть «квад-

ратура круга», я посвятил этому вопросу ...

– Вот именно, – прерывает его сам Лукавый, эlegantный, стройный, привлекательный и ... черный, во всех отношениях.

– Вот именно, круг, – повторяет он. – Никаких ограничений свобод, никаких сторон, форма Храма, Дома Господня – только круглые стены, идеальная гармония.

Двери Храма распахиваются, и площадка озаряется невыносимо ярким светом. Голос, идущий изнутри, но звучащий повсюду, провозглашает: – Храму, до тех пор, пока он нужен Человеку как место прийти ко Мне и заговорить со Мной, быть о двенадцати стенах. Аминь.

Зодчий забил в усыпанную блестящими ягодами утренней росы землю четвертый колышек и начал прилаживать пеньковый шнур, чтобы проверить диагонали. Еще рано, подмастерья появятся позже, когда солнце целиком оторвется от верхушек елей, пока же его румяная физиономия пряталась за вуалью массивных лап, многочисленными иголками впившихся в робкие лучи, не отпуская светило от себя, отчего свет Божий падал на мир искривленными, неровными пятнами.

Закрепив пеньку на западном маяке, Зодчий потянул ее к восточному колышку. Легкий туман, присевший к самой земле, разлетался от его поступи клоками причудливых форм, и мастер, увлекшись определением степени схожести

того или иного облачка с человеком или животным, не заметил сразу, что березовый обрубок, его конечная цель, был занят. Слетевшая с него шапка, здорово смахивающая на рыбу с двумя хвостами (может, такая и водится где), обнажила оседлавшего со всеми удобствами маячок ...ангела.

– Фу ты, привиделось, – выдохнул Зодчий и потер глаза.

– Испугался, а не перекрестился, – спокойно поприветствовал его Ангел.

– И что это значит? – ошарашенно спросил Зодчий, выронив из рук пеньку.

– Значит – перед тобой Силы Света, и пугаться нечего, – Ангел, светящееся создание размером со скворца, поклонился собеседнику. – Почему кольев четыре?

Зодчий, не покинувший состояния крайнего изумления, присел на корточки: – Так велит канон: четыре стены – четыре Евангелия от апостолов.

– Ангел усмехнулся: – Коля-то не осиновые?

– Береза, – быстро ответил мастер и оторвал от маяка кусочек бересты. – А почему осина?

– Потому что осиной обычно прибивают насмерть, – Ангел покачал головой. – В данном случае – Истину.

– Да в чем же она, небесное создание? – Зодчий на этот момент приступал к возведению своего третьего по счету Храма и, казалось, изучил все приемы и ограничения, предписываемые при строительстве Домов Господних, что освещались потом молитвами и окроплялись святою водой. На-

рушь он хоть раз пропорции или размеры, «сломай» радиус или допусти несоосность, на том же месте и потерял бы заказы, репутацию и повязку мастера вместе с головой. Но он здесь, на высоком изумрудном холме, опоясанном быстрой сияющей речкой, под куполом утреннего, чистейшего неба и готов к сотворению нового Храма.

Пока Зодчий «взвешивал» свои сомнения на предмет профпригодности, Ангел подрос до размеров крупной вороны.

– Сколько апостолов у Христа? – ответил он вопросом на вопрос.

– Известно, двенадцать, – не раздумывая сказал мастер, снова потирая глаза от удивления.

– Так почто обижаешь остальных, подпирая спины только четверым? – светящаяся «ворона» попрыгала на колышке, разминая ноги.

– Но Евангелий всего четыре, – оправдываясь, пролепетал Зодчий.

– Каждый апостол написал свою Книгу, – непререкаемым тоном возразил Ангел. – Живого Христа видели двенадцать учеников, и всяк записал свою историю Учителя, это двенадцать взглядов на Бога.

– Но мы знаем только четыре, – Зодчий более спокойно наблюдал на удивительную метаморфозу светящегося существа, принявшего размеры большой собаки.

– Четыре людям, четыре ангелам и четыре Богу, – нраво-



учительно произнес Ангел, продолжая расти, от чего Зодчому пришлось подняться с корточек на ноги.

– Зачем так... сложно? – мастер помял затекшие колени.

– Поровну между Отцом, Сыном, вернее Сынами, – Ангел кивнул на мастера, – и Духом Святым, – при этом он склонил голову, явно намекая на ангельское сообщество.

– Невероятно, – прошептал Зодчий, уже глядя прямо в глаза вытянувшегося до человеческого роста крылатого собеседника. – Скажи, они отличаются друг от друга?

Ангел кивнул головой. Солнце, частично избавившись от когтистых еловых лап, осветило холм, разогнав заодно вместе с остатками тумана прочие тени сомнений. Мастер поднял упавшую пеньку и зацепил за колышек.

– Чтоб не потерялся, – оправдываясь, сказал он Ангелу, который непостижимым образом умещался при своих габаритах на небольшом березовом пяточке.

Ангел снова кивнул головой: – Ты ведь хочешь спросить, ЧЕМ они отличаются?

– Да, – Зодчий вытер мокрые от росы руки о рубаху.

– Четыре Евангелия для ангелов описывают пребывание Христа в пустыне, все сорок дней, день за днем. Каждый апостол подробнейшим образом изложил житие Иисуса за десятидневный период, один за другим, но не томление и страдания телесные, а работу души в пустынях тонкого плана.

– Откуда же ученики прознали о том? – возбужденно спросил Зодчий, начиная догадываться об ущербности за-

мысла Храма в четыре стены.

– Учитель сам поведал им на тайной вечере, передав рассказ свой не беседой словесной, но мысленно направляя все в уши Хранителей апостолов, ибо только им ведом ангельский язык.

Крылатый собеседник мастера, залитый солнечным светом, тем не менее сиял еще ярче.

– Это непостижимо, – едва слышно пролепетал Зодчий.

– Еще более непостижимы четыре Евангелия для Бога, – Ангел почтительно расправил крылья. – Они описывают последние часы Сына Божьего на земле, его путь на Голгофу, ту ношу, что возложил на себя Спаситель как Дух. Та четверка апостолов, что удостоилась такой чести, приняла эту весть во сне, в качестве откровения, знания, которых невозможно познать. Ученики, бессознательно приняв этот дар от Христа, передали его Богу, также во сне, в момент между Распятием и Воскресением.

Ангел сложил крылья и на глазах его, всего на миг, проступили слезы.

– Значит, стен в Храме должно быть двенадцать, – уверенно сказал Зодчий.

Внизу, у подножия холма, послышались торопливые шаги и приглушенный разговор. Ангел, перестав сиять, начал уменьшаться обратно в «ворону», становясь прозрачным.

Мастер обернулся на голоса подмастерьев и крикнул: – Братцы, нарубите еще колышков.

– Сколько? – отозвались снизу.

– Восемь, – Зодчий, для верности растопырив пальцы обеих рук, показал нужное количество.

Работники развернулись к лесу, Ангел вновь «просветлел», но сжался до размеров бабочки.

– Скажи, – обратился мастер к Ангелу, – стены должны быть равными, мне разбивать одинаковые углы?

«Небесная бабочка» заулыбалась: – Земному храму – земные стены, небесам – небесные, а Богу – божественные.

Зодчий догадался: – Храм – пирамида из трех слоев, каждый отражает свои Евангелия.

– Прекрасный ученик, – подтвердил Ангел.

– Мне просто нужно уменьшить сечение каждого последующего куба?

– Они равноправны и равноценны, – ответил светлячок.

– Но тогда стены всех храмин совпадут и образуют башню, – Зодчий непонимающе поскреб натруженной рукой затылок.

– Ты представил себе идеальный Храм, прямой Путь Домой, но человек не может сделать такого, пока не может, – с некоторой печалью в голосе произнес Ангел.

– Но почему? – удивился мастер.

– Стороны света, а значит и восходы «солнц», в трех мирах не совпадают. Храмовая пирамида будет из смещенных слоев. Люди строят стены, ориентированные по-своему, ангелы – по-иному, а Господь Бог – истинно. Между чело-

веком и ангелом – душевный сдвиг, между ангелом и Богом – сдвиг Духа. Очищение души стирает границы между миром плотным и тонким (выравнивает стены), очищение духа – приводит к Богу.

– Мастер, нарубили на всякий случай десяток, – раздался голос за спиной.

Ангел-бабочка, взмахнув бесцветными крыльями, растворился в воздухе. Трое балбесов, подпоясанные топорами и молотками, с неумытыми, но выпавшимися рожами, предстали перед Зодчим.

– Вот, – на землю грохнулись березовые колья. – Куда бить-то?

Мастер озадаченно обернулся: на траве, там, куда упали недавно слезы Ангела, проросли и распустились два необычно ярких бело-желтых цветка.

– Бейте сюда, – уверенно скомандовал Зодчий и указал точное место.

# В сиянье Имени Его

*В сиянье Имени Его*

*Мы меркнем тихо и печально*

*Так и не вняв, что изначально*

*Являлись частью Всего.*

Тяжелая дверь противно всхлипнула, властно шевельнув пламя полуистлевшей свечи на столе, пропитанном воском, слюной и кровью. Инквизитор поморщился, этот мерзкий, до скрипа на зубах, звук прибытия новой жертвы тяготил его более, чем последующие вопли еретиков, прости Господи их заблудшие души, к которым уши его и сердце за долгие годы нелегкой службы сделались глухи.

– Ваше Преосвященство, – в помещение просунулась краснощекая морда тюремного служки по прозвищу Клещ (этот инструмент был освоен им в совершенстве). – Следующий.

Инквизитор поморщился снова, теперь уже от резкой боли в правом боку, посещавшей в последнее время его брэнное тело все чаще и чаще.

– Позже? – Клещ с удивлением и некоторым разочарованием вскинул брови, а за его спиной некто невидимый издал слабый вздох облегчения.

Служитель церкви и воин святой инквизиции хотел ответить, но спазм перехватил его горло, и вместо слов нутро «вопрошающего» выдало сухое шипение. Он ухнул себя кулаком в грудь и, кашлянув, крикнул: – Заводи.

Краснощекий распахнул дверь подzemелья полностью и втащил внутрь изможденного, тощего человека с вытаращенными от ужаса глазами и вздутыми на шее венами.

– Кто? – коротко спросил Инквизитор, вытирая рукавом следы пенной слюны на губах.

– Колдун, – так же коротко отрапортовал Клещ, встряхнув висящего на его огромных руках человека, словно весу в нем было, как в конской сбруе.

– Я обычный крестьянин, Ваше Преосвященство, – всхлипнул несчастный.

Клещ, не выпуская жертву из правой руки, левой протянул «вопрошающему» пергамент с описанием деяний «колдуна».

Инквизитор не торопясь запалил вторую свечу и погрузился в изучение списка заслуг крестьянина. Среди прочего в представленном перечне значились: вызывание засухи, разговор на падеж скота, колдовство на неурожай и прочая белиберда, коей он начитался досыта. Завистливые соседи, обманутая жена или, наоборот, отвергнутая селянка – все они в ближайший же воскресный день бежали в исповедальню, но вместо очищения собственных грехов, рассказывали пастырю сплетни своего же немудреного сочинения, как прави-

ло, в «пользу» добропорядочных людей.

Инквизитор оторвался от пергамента и взглянул на «колдуна»: точно, этот не виновен как пить дать.

– Прошу присаживайтесь, – тем не менее не без сарказма сказал он трепещущему старику и указал на кресло для допросов. Тот, видимо, был наслышан об этом приспособлении, потому как челюсти его, до сего момента с трудом сдерживающие дрожь, заколотили остатками зубов, словно детвора на реке, лущущая палками верховодку.

Клещ, перенеся обмякшее тело и ловко бухнув его на шипы, отчего бедняга взвыл сиплым, пронзительным голосом, намертво пристегнул кисти и лодыжки кожаными ремнями.

Инквизитору хорошо была знакома эта боль, он сотни раз наблюдал ее проявления в искаженных гримасах жертв, слышал ее голос в душераздирающих криках и чувствовал ее присутствие в сжимающемся от страха воздухе пыточной камеры, низкие каменные потолки которой и черные стены, увешанные всевозможными изобретениями извращенного человеческого ума, единственной целью которых было медленное, мучительное умерщвление себе подобных, давно стали ему вторым домом. Да, он знал боль, но только чужую, и животный страх испытать ее самому заставлял «вопрошающего» отправлять в железные челюсти все новые и новые «куски мяса».

– Вам удобно? – улыбаясь, поинтересовался Инквизитор у крестьянина, боявшегося пошевелиться на смертельном се-

далище.

Но старик, переживший первый шок, странным образом немного распрямился и перестал дрожать.

– Едва ли ваше кресло сильно отличается от моего, – спокойно ответил он.

Инквизитор вскинул бровь, а Клещ повернул на пол-оборота винт, стягивающий железный сапог, сомкнутый на правой ноге жертвы. Кровь брызнула из голени, крестьянин охнул и потерял сознание. Клещ вернул винт в начальное положение, зачерпнул из кадки зловонной воды и плеснул в лицо старику.

– Место мое представляется мне более предпочтительным, – злорадно произнес Инквизитор, стоило крестьянину открыть глаза.

– Господь наш, Иисус Христос, распятие которого висит над вашей головой, Ваше Преосвященство, выбрал бы мое, – прошептал старик, «прислушиваясь» к затихающей боли в ноге.

– Почему ты, ничтожный и не достойный произносить Имя Бога, так решил? – покачал головой Инквизитор, удивляясь смелости допрашиваемого вместо унижительного вымалывания скорейшей смерти.

– Не суди, да не судим буде – Слова Его. Он сам пришел не судьей к нам, но быть осужденным нами.

– Да ты богослов, не иначе, – поразился Инквизитор, – а ну-ка, Клещ, подай ученому мужу Святое Писание, прили-



чувствующее ему.

Тюремный служка снял с полки толстенный фолиант, весьма и весьма увесистый и, с едкой улыбочкой, водрузил книгу на колени несчастного. Стальные иглы впились в ноги, и крестьянин прикрыл веки, из-под которых покатались слезы, но не издал ни единого звука.

– Прочтешь чего или по памяти? – ухмыльнулся Инквизитор, глядя на муки «еретика». – Ах да, – спохватился он, – руки скованы.

Старик открыл глаза и посмотрел на мучителя: – Чем же провинился пред тобою Иисус, если именем его убиваешь меня?

– А какая связь? – равнодушно проговорил Инквизитор и толкнул пальцем пустой кубок, стоящий перед ним, давая понять Клещу – наполни его. Тот весело хлопнул ладонью по Библии (отчего у крестьянина слезы брызнули из глаз) и рванулся к бочонку, притаившемуся в темном углу пыточной.

– Всякий раз, когда один лишает жизни другого, он заставляет Христа восходить на Крест свой.

– Это почему же? – небрежно спросил «вопрошающий», громко отхлебывая из чаши.

Слабеющий старик, набрав побольше воздуха в легкие, выдавил: – Принявший смерть за всех единожды, вынужден принимать ее еще, и еще, и еще, ибо обещал Отцу делать это.

Инквизитор привстал из-за стола.

– Ереси в твоих словах становится больше, чем здравого

смысла, – прошипел он. – Нет сомнений у меня теперь в том, что ты колдун и богохульник.

Рука Клеца потянулась к воротку, но «вопрошающий» жестом остановил слугу.

– Бурю речами своими на поле ты не «посеешь», – продолжил он, – но в умах...

Глаз задергался у храмовника. Не отрицай крестьянин своей вины, пусть и наговоренной, Клец «освободил» бы его на дыбе быстро и почти безболезненно, – думал, гневаясь все больше, Инквизитор, – но он стал учить божьего посредника придуманным истинам, не ведать ему скорого и легкого конца.

Храмовник подошел к мученику, старик был совсем плох, многочисленные укусы трона обескровили тело, истощили разум, но дух, дух еще теплился в нем.

– Не прояснишь ли мне, темному, с чего бы Иисусу, вознесшемуся на Небеса, спускаться на крест ради тебя?

С кривой ухмылкой он оперся двумя руками на Библию, перенеся на Святое Писание весь свой вес. Шипы вошли слишком глубоко в плоть крестьянина, на губах, жадно хватающих воздух, появилась кровавая пузыряющаяся пленка, и голова несчастного безжизненно упала на грудь.

– Перестарались, Ваше Преосвященство, – констатировал Клец, – отбыл колдун.

– Убери эту падаль, – гаркнул Инквизитор, вытирая рясой взмокшее лицо.

Клещ отстегнул ремни, сдернул тело с жуткого сидалища, и в этот момент колдун-крестьянин открыл глаза: – Христос буде страдать при страдании каждого человека, ибо только так Он может удержать мир людей, – старик закашлялся, но продолжил: – от падения в ад. Когда же в людях проснется совесть по отношению ко Христу, они перестанут нести в мир страдания и освободятся сами, а вслед за ними освободится и Иисус.

Голова старика дернулась, он прохрипел : – Мы живем в сиянье Имени Его, – и испустил дух.

Инквизитор вышел из пыточной комнаты, он не любил это название и одергивал Клеща всякий раз, когда он его применял.

– Здесь еретики проходят очищение, а не пытки, – говорил он.

– Тогда, что же, – возражал Клещ, – это чистилище?

– Нет, – морщился «вопрошающий», – комната омовения, дурак.

– Ясно, – соглашался служка, – омовения собственной кровушкой.

Инквизитор безнадежно махал рукой, а Клещ брал грязную тряпку и начинал вытирать бурые пятна с адских приспособлений.

Время было к обедне, чтобы попасть в трапезную, надобно пройти длинный, темный, с низкими сводами, мокрый,

то ли от капель влаги, то ли от слез несчастных, коридор, оканчивающийся скользкими ступенями, ведущими наверх, к солнцу, даже не пытавшемся заглянуть в эти страшные закоулки, и ветру, по глупости иногда влетавшему сюда, но тут же замиравшему от ужаса увиденного и услышанного. Сделав несколько шагов, Инквизитор схватился за бок и прислонился к холодной стене.

«Хепар» – так называл мучителя Его Преосвященства Травник, оказавшийся перед столом Святой Инквизиции по доносу о его сговоре с дьяволом (бедолага прекрасно разбирался в травах и соцветиях). Неученый «лекарь», рыская по телу болящих пальцами, определял, в какое место нечистый запустил свою лапу, и ставил на ноги отварами, что, собственно, и привело к их близкому знакомству.

– Хепар будет напоминать о себе все чаще, Ваше Преосвященство, – предупреждал Травник, вися на дыбе, но видя перекошенную гримасу своего мучителя.

– Ты вырвал ему язык, – прозвучал голос в голове Инквизитора.

– Господи Иисусе, – вздрогнул «вопрошающий» и трижды перекрестился дрожащей рукой.

– Не поминай Имя Господа всуе, – напомнил и заповедь, и о себе таинственный голос.

– Кто ты? Что со мной? – едва умиряя бешеное сердцебиение, пролепетал Инквизитор.

– Твоя Совесть, – последовал ответ, а за ним и вопрос: –

Удивлен?

Храмовник обессиленно сполз по стене на пол и заткнул уши руками.

– Вот, вот, – продолжила наступать Совесть, – коли не достучаться мне до ушей твоих, буду толкать хепар, действительная вещь.

– Почему? – прохрипел Инквизитор, снова хватаясь за бок от острой боли.

– Хепар, – Совесть немного отпустила свой нажим, – есть Геракл, очищающий Авгиевы конюшни, вернее сказать инквизиторы, твои, конюшни.

– Не понимаю, – облегченно вдохнул «вопрошающий».

– Хепар – сосуд для яда, что заливает человек сам в себя, преступая заповеди и распиная тем самым Христа. Не хулишь ли ты Иисуса, Крест несущего, когда лжесвидетельствуешь на ближнего, ибо Сын Божий есть Правда? Не бросаешь ли ты камень в него, осуждая ближнего, но не себя, ибо Сын Божий есть Безгрешие? Не плюешь ли ты слюной ядовитой в Лик Светлый Христов, когда лишаешь жизни ближнего, ибо Сын Божий есть сама Жизнь?

– Так я же во Славу Его, – начал оправдываться Инквизитор, но Совесть, уж коли она проснулась, была непоколебима.

– Слава Имени Его в том, что всякий раз прощая твои «побой и унижения», Иисус чистит хепар твой, чтобы не прорвало плотину эту до срока, Отцом Небесным установ-

ленного для тебя, в надежде, что одумаешься. И бесконечно прощение Спасителя, – Совесть снова пнула Инквизитора в бок, – но не вечны ткани хепара, а у клеток, что сотканы в форму этого органа, есть своя совесть, и она говорит: довольно.

– Господи, мне дурно, – простонал Инквизитор, напряжение внутренностей перешло в ослабление, и храмовник помочился под себя, что вызвало новые рези, уже в непотребном месте.

Совесть беспристрастным тоном заявила: – Не отними ты языка у Травника вместе с жизнью, он сказал бы сейчас «везина уринария», а я добавлю: спускаясь от ушей (сердечных) к хепаре грешника, Совесть спокойно отопрет последнюю дверь, и это будет «везина», так что лучше слушать ушами.

Закончив возиться с тряпкой и плеснув остатками воды на острые зубья кресла допросов, Клещ толкнул дверь и вышел в темную галерею. Неподалеку на полу чернела бесформенная груда тряпья. Подойдя ближе, тюремный служка разглядел бездыханное тело Инквизитора, «сидящего» в луже собственных испражнений. Клещ даже в темноте сразу же определил, что храмовник мертв. Он присел возле почившего на корточки и, оглядевшись, пошарил по карманам рясы – пусто, но на пальце Инквизитора красовался золотой перстень с печатью.

– Прости, Господи, – прошептал, крестясь, Клещ, – облег-

чу путь его в сень Твою.

Он не без труда стянул перстень с распухшего пальца и спрятал трофеей у себя.

– Без надобности мертвому, да пригодится живому, – проговорил он и уже собирался уйти, как в слабом отблеске свечи заметил цепочку на шее покойника. Снова оглянувшись и подумав секунду, Клещ сдернул цепочку с Инквизитора, на ней оказалось позолоченное распятие. Иисус, прикованный к своему Кресту, с укором глядел на служку, отбрасывая на алчное его лицо «золотые» блики. Клещ, загнипнотизированный раскачивающимся на цепочке Христом, не в силах оторвать глаз от взора его, прошептал: – В сиянье Имени Его.

Но вдруг, опомнившись, зажал крестик в кулаке и засеменил к настоятелю, сообщить о безвременной кончине Его Преосвященства, по всей видимости, обнимающего сейчас Господа нашего, Иисуса Христа.

# Древо, которое решило не цвести

– Знаешь ли ты, в тени какого дерева мы сейчас есмь? – произнес Будда, расслабленно зависнув в нескольких дюймах над змеевидным корнем, традиционно для себя, в позе лотоса. Я с трудом оторвал взгляд от его болтающихся в воздухе без всякой опоры пяток (надо признаться, завораживающее зрелище) и поднял глаза вверх. То, что я увидел, впечатлило меня не меньше: надо мной раскинулась крона гигантского дерева, значительно превосходящая по размерам баобаб, секвойю или камедь. Ни один лист не повторялся в рисунке, ни одна ветвь не имела равной длины или одинакового изгиба, но главное удивление вызывал общий ствол, составленный из великого множества отдельных, прямых, гнутых, избегающих друг друга и «липнущих» один на другого, с различающейся структурой и цветом корой, ползущих ввысь и убегающих в стороны, слабых, изможденных, словно лианы в джунглях, коим нужен чужой каркас для жизни, и крепких, плотных, как корабельные сосны, что величаво рвутся к солнцу, подставляя шапки крон всем ветрам.

– Что это? – только и смог прошептать я, захлебываясь от величия и мощи увиденного.

– Это Древо человечества, – умиротворенным, почти сонным голосом ответил Будда и, помолчав, добавил, – оно ре-



шило не цвести.

Будда – Просвещенный, он все знает, и он – Просветленный, а значит, никогда не лжет, но еще Будда – большой ребенок и любит шутить. Как это, дерево что-то решает? Я снова задрал голову, бурная листва пестрила всеми цветами радуги, да-да, крона Древа человечества не походила ни на одно знакомое человеку растение.

– Сколько красок! – произнес удивленно я вслух.

Будда, продолжая пренебрегать силой притяжения, заунывно продекламировал: – Это следы увядания, но не цветения.

Продолжая разглядывать необычное дерево неизвестного семейства, я вынужден был согласиться с мудрейшим – все, что так восхитило меня, относилось к листве, цветов я не обнаружил.

– Но Древо не выглядит мертвым.

– Оно и не мертво, – Будда, словно голубое облако, спустившееся ближе к земле посмотреть, как там внизу дела, повернулся вокруг своей оси и едва не коснулся носом серо-зеленой коры ближайшего стебля. Никто лучше него не умеет часами пялиться в стену, не моргнув глазом и не пошевелив бровью, утверждая при этом, что созерцание Вселенной наилучшим образом производится через подобный экран.

Это надолго, подумал я, но ошибся. Будда отозвался, видимо заканчивая мысль: – Оно умирает.

Я последовал его примеру, но не рассчитал и с усердием, достойным хорошего ученика, расплющил физиономию о бледно-розовый витой ствол.

Будда улыбнулся: – Не суй нос в чужие дела.

– То есть? – обиделся я.

– Каждый ствол, образующий общее Древо, – род, и чем длиннее стебель, тем старше он и темнее деяния, что гнули и кривили его, отравляя сокоток, а иной раз и перекрывая вовсе.

– Так это родовые древа, – догадался я, по-новому рассматривая хитросплетения стеблей и почти геральдическую расцветку коры.

– Проницательностью в твоём роду не был обделен только... – задумчиво произнес Будда.

– Где, где мое древо? – засуетился я, жадно хватая ближайшие стебли и пытаюсь самостоятельно определить свою принадлежность к разноцветным складкам их «кожи».

– Оно с другой стороны, – «успокоил» меня мой сизоликий товарищ. – Это твоя прабабка по материнской линии.

– Что прабабка? – не понял я.

– Единственный проницательный член твоего рода, – отрезал Будда. Не отрываясь от разглядывания трещинок на теле Древа человечества, заполненных грязью помыслов, пухом надежд и беспокойными жучками, высовывающими то и дело на Свет Божий длиннющие усы и тут же прячущими их обратно.

Признаться, я и сам подозревал это (не про бабу, конечно). Мне бы кто разжевал, засунул (аккуратно) в рот, я попробовал бы, и, если бы не понял, то этот кто-то вытащил бы все обратно, перемолол наново и, желательно без раздражения, запихнул опять.

Будда, даром что Посвященный, все мысли мои «прочитал» между складок древесной одежды.

– Жевать Истину я не стану, ибо подобное действие приводит к возникновению хаоса, и уж тем более насильно заталкивать ее в твое сознание – это сущее варварство, но рассказать о Древе могу. Спрашивай.

Я заметался между загадочной личностью прабабки и трагедией вселенского масштаба – увяданием Древа человечества, и хоть своя рубаха ближе к телу, но любопытство глобального характера взяло верх.

– Почему мы решили не цвести? – выпалил я, немного жалея, что внутрь вопроса нельзя поместить и древнюю родственницу.

– Все взаимосвязано, – четко и неторопливо произнес Будда, – и Армагеддон, и прабабка.

– Вот черт, – вырвалось у меня.

– И он, кстати, тоже, – Будда отлепился от Древа и развернулся ко мне.

– Представь себе, что ты Творец, – мой Просветленный собеседник запнулся, закатил глаза и, видимо, спохватившись, исправился: – Ах, да, забыл, что только прабабка...

– Прекрати оскорблять меня, – возмутился я. – Вообразить себя Создателем мне сложно, но плох тот солдат, что не мечтает стать генералом.

Будда удовлетворенно закивал головой: – Похвально такое рвение, и, кстати, крупный военачальник «сидит» в шестом колене на отцовской ветке, вон сучок, заостренный, как копье, – и он ткнул своим синим пальцем в ствол Древа. Я хотел было крикнуть: «Где?», но вспомнил, что наш родовой ствол с другой стороны.

– Итак, – Будда, не меняя позы, включив неведомые мне моторы, поднялся чуть выше: – Продолжим. Ты, Творец, решаешь создать нечто, чего еще нет, хотя все уже существует.

– Это сложная гипербола, – вставил язвительно я, – даже для тех, у кого все в порядке с воображением.

– Да, – согласился Будда, как бы не замечая моей иронии, – им не легче. Ты – Творец, и есть только ты, значит, любое сотворение чего-либо будет процессом выделения себя, «потери» своей части.

– Как пеликан, кормящий птенцов своею плотью, – воскликнул я, припомнив древнюю легенду.

Облачко-Будда заколыхалось: – Ну вот и заработала прабабкина проницательность. Творец выделил часть себя, Семя, Частицу Божественной Любви, которое дало росток, первый, изначальный. Знание о нем передано людям как история о «рождении» Адама.

– Первый ствол в Древе человечества, – прокричал я, чув-

ствуя, как меня распирает изнутри «проснувшаяся» вдруг далекая родственница.

Будда, эмоционально не отличимый от скалы, что подставляет себя ветрам тысячи лет, продолжил: – Древо Адама не без помощи Евы, чье появление Творец произвел «почкованием», развалилось на две ветви, как змеиный язык.

Будда пристально посмотрел на меня: – Прабабка ничего не подсказывает?

Я подумал... «змеиный язык»... и выпалил: – Змий-искуситель!

– Угу, – промурлыкал Будда, – молодец прабабка. Легенда об искусителе (я же обещал тебе про черта) имеет в виду разделение на ветви Каина и Авеля. То, что «стержнем» Древа человечества стал стебель Каина, его семья, «заслуга» Лукавого. Авелева ветвь засохла, прекратив сокоток почитания и любви к Богу. Каиново семья дало плоды роду человеческому, что понесли в себе код насилия и обмана. Вот оно – изгнание из Рая.

Просветленный легко «ломал» мое сознание, и догмы, укоренившиеся в нем, плавилась, как лед на солнце, хотя над нашими головами разноголосно шумели листья-судьбы, старательно закрывая собственные стебли от Света.

Будда, судя по всему, наслаждался жизнью, моментом и моим состоянием. Дав мне немного времени прийти в себя, он спросил: – Двигаем дальше?

– Про черта было, теперь давай про родственницу, – па-

рировал я.

– Успеется, – наконец-то улыбнулся непроницаемый рассказчик, – с Древом еще не закончили. Каждый последующий род гнал по венам своим отравленный сок, и общее Древо деградировало, стало засыхать, листопад (преждевременная гибель) начал превалировать над цветением (верой) и вызревающим семенем (продолжением рода). Каинов, центральный для Древа, ствол разохся, сгнил и был сожран термитами (грехами людскими).

Будда остановил рассказ, трижды повернулся вокруг себя и сказал: – Раз уж в тебе заговорила прабабка, хотя больше – ты о ней, представь, что тогда сделал Творец, тем более, акт этот известен всем.

Я пожал плечами, воображая, что смотрю на любимый куст, например, белых роз, посаженный в удобренную почву с любовью и старанием, но розы, предоставленные на волю ветров, дождей, морозов и засухи, росли не так быстро, как представлялось мне изначально. Лепестки их слабы, а шипы длинные, и тля, облепившая стебли, портит весь вид. Мне, садовнику, видно начавшееся увядание детища, и я... А что я могу? Только полить его.

Будда протянул руку в успокаивающем жесте: – Я обещал тебе родственницу, вот она, в правильном ответе. Да, Творец полил погибающее Древо человечества Живой Водой.

– Потоп! – воскликнул я.

Будда, сделав умильную физиономию, саркастически

произнес: – Прабабка сделала свое дело и удалилась.

Я поник: – Если не потоп, тогда что?

– Что есмь сама Жизнь? – вместо ответа спросил меня Будда.

– Бог, – я не сомневался в ответе.

– Да, – подтвердил мой Просветленный друг. – Бог, точнее часть Его, Сын Божий. Приход на землю Спасителя – это возрождение Древа, акт омовения нуждающегося в животительной влаге.

– Так купание в Иордане, – предположил я.

Будда закивал головой: – Голографическая копия омовения всех душ на тонком плане, возвращение Авеля к Каину, Возрождение их обоих, приведение убиенного к Жизни (изменение кода), а убийцы к раскаянию. Христосознание есть обнуление первородного греха.

Я повис между Небом и Землей, не как Будда, конечно, не телом, но сознанием. Выходило, что мы после Христа были чисты, не по заслугам, но Волею Господней и Жертвою Иисуса, а дальше был выбор, и мы его сделали.

– Точно, – закивал моим мыслям Будда, – решили не цвести.

Я прислонился к стволу, чья-то жизнь пульсировала в нем скрытым дыханием, шелестом листвы, суетой мошек и червячков, щекотавших спину. «Как же так?» – вертелся в голове вопрос, такой шанс, прощенные грехи, чистый лист. Какой-то назойливый муравей свалился за шиворот и прервал

мои думы, я озаботился похлопыванием по спине, плечам в жалких попытках достать до места (так некстати прямо между лопатками), где обезумевшее насекомое в панике пыталось найти выход, зажатый потным телом и холщовой рубашкой.

– Так и произошло, – невозмутимо произнес Будда, наблюдая мои акробатические па и медленно раскачивая свое невесомое тело.

– Нечто ничтожное, мелкое, как твой муравей, едва сравнимый по масштабу с глобальной мыслью, что заняла тебя, будучи активным, легко сбивает с пути истинного, переключая все усилия, и физические, и ментальные, на себя. Иисус принес людям идею равенства с Богом, единство Сына и Отца, но Лукавый «перевернул» его Смирение, как Путь Истины в Гордыню, заставив поверить человека в то, что он есть Бог, как и проповедовал Христос. Осознание Смирения как высшей добродетели, прямого пути к Отцу Небесному через Абсолютное доверие – «муравей», а Лукавый, им и являющийся пред величиной Создателя, смог профанировать процесс сей до суетности Самости, возвеличиванием Человека не Высшим «Я Есмь», а меркантильным «У меня есть». Каждое новое «Древо» дало свежий росток, напоенный ядом самомнения.

Будда умолк, веки его опустились, и он покачивался, как кукла на невидимых нитях кукловода, в полной тишине. Листья, периодически срывающиеся с веток, падали вниз при-



чудливыми лепестками, старательно облетая, мне даже показалось – намеренно уворачиваясь от сине-серого говорящего «облака».

– И все же я не понял резонов для прекращения цветения, – решил прервать я его молчание. – Разве кривой путь или несправедная дорожка заставляют остановиться?

– Вовсе нет. – Будда протянул руку, и на ладонь улегся желтый пятиконечный лист. – Безгрешна только Любовь, гордыня же имеет ограниченный потенциал.

Будда дунул на лист, и тот послушно продолжил свой путь к земле.

– Ядовитый сок не дает вечного роста, как и кривая дорожка всегда заводит в тупик.

Он опустился на корни, распрямился во весь рост и, повернувшись к Древу, сказал: – Поищи свой стебель, там, на другой стороне, если найдешь, передай привет прабабке.

После чего шагнул прямо в ствол, словно кора была обычной занавеской, натянутой на каркас, и исчез во чреве Древа человечества.

## Дева с «каменным» лицом

В мастерской тихо, настолько, что, кажется, воздух потерял физические свойства и подчиняется в этих стенах законам иных пространств и измерений. Может, каменные стены непомерной толщины способствуют этому, но окна, пусть и небольшие, распахнуты настежь, а за ними мир, каков он есть в нашем воображении, понимании и ощущении, и этот мир бурлит, шумит, плещется красками и полнится звуками, громче, ярче, звонче, кружась вихрем радостного серпантина и рассыпаясь разноцветными фейерверками безудержного смеха.

Здесь же, на расстоянии всего лишь вытянутой руки, карнавал жизни замирает, исчезая в мгновение ока, не оставляя после себя на опустевших площадях ни блестящей обертки, ни капельки конфетти, и даже рекламные тумбы до полной наготы сбрасывают с себя платья крикливых афиш.

Тяжелая винтовая лестница с чугунными ступенями в виде ладоней и коваными поручнями, изображающими змей, ящериц и обезьяньи хвосты, не передает звука шагов, словно ступаешь по ковру арабского шейха, благоговейно и трепетно приближаясь к правителю на цыпочках, ибо Величайший и Премудрый задремал или погрузился в думы, и дабы не помешать течению его высочайшей мысли, предстать пред

очи его надобно незаметно.

Верхний зал мастерской, куда выводит лестница, пуст. Свет, сочащийся из самих стен, направлен на фигуру в центре комнаты, целиком покрытую белым саваном. Подле нее, приглашающе протянув руку навстречу, стоит человек, имя его – Скульптор, жизнь его – творчество, выбор его – ты.

Не веришь? Зря. Скульптор – человек серьезный, и намерения его продиктованы суровой необходимостью проявленного бытия и порученными ему задачами, да и на балаганного шулера он совсем не похож, ну, может, самую малость: хитрый прищур его острых глаз выдает в нем наперсточника, но это в далеком прошлом.

Дождавшись, когда ты решишься наконец отлепиться от последней змеиной головы спасительного поручня и нетвердым шагом подойдешь ближе, он широко улыбнется твоей «смелости» и скажет: – Твой заказ готов.

Сдернув при этом саван с фигуры.

– Дева?

– Удивлен?

– Но я не заказывал деву, я вообще ничего не заказывал и тебя вижу впервые.

Скульптор, по сути, безразличен и к заказчику, и к собственному творению, он делает свою работу исходя из предназначения, ни плата, ни мнение его на заботят.

– Я выполняю заказ к каждому твоему Приходу.

– Но я...

– Ты делаешь новый заказ во время Ухода, – Скульптор снова улыбнулся, – с учетом пройденного Пути.

Он не обманывает, это слышится в интонациях, строгих, размеренных, спокойных, незаинтересованных.

– Кто ты?

– Здесь важен вопрос – кто ты? – Скульптор внимательно разглядывает тебя, профессиональным глазом снимая мерки и вычисляя пропорции.

– Уж точно не дева.

– Приглядишься получше, – и мастер протягивает обе руки к своему детищу.

Глаза, брови, лоб, нос, рот – все твое, ты смотришь на фигуру словно в зеркало, но что-то смущает, нет, не преобразование твоих черт в женский облик (если ты мужчина), а нечто другое. Ты вскрикиваешь: – А лицо-то каменное! – имея в виду не материал, а выражение его.

– Неужели это я?

Скульптор кивает головой: – Часть тебя, твоя Гордыня.

– Дева с каменным лицом?

Мастер довольно улыбается: – Ты морщишься каждый раз при виде ее, как в первый раз, забывая, что только Любовь вне времени, а все остальные качества, включая и эту дамочку, привязаны к нему.

– Ко времени?

– Да, ко времени Пребывания в теле, оттого и маска на лице застывшая, окаменевшая. Самость, ей (гордыне) прили-

чувствующая, не накапливается в душе, она только оставляет кармический след, который является рычагом, меняющим «энергетический знак» носителя. Гордец в последующем воплощении испытает унижения, равновеликие его прошлому «воспарению» над миром. Гордыня – это воздушный шар, который, лопаясь с громким хлопком, низвергает своего пассажира с тех «высот», куда успел занести его.

Ты переводишь удивленный взгляд со Скульптора на свою Деву. Прекрасная (по твоим меркам, естественно) голова посажена на длинную, чрезмерно тонкую шею. Где же пропорции, думаешь ты.

Мастер видит направление и взора, и мыслей: – Такая шея позволяет взирать свысока, и даже не на других (с ними все ясно), но на себя самого.

– Зачем?

– Друг мой, что Гордыне до других, когда есть чем любоваться, а именно – собой. Как ты думаешь, кто придумал зеркало?

– В таком случае я смешон.

– Истинно говоришь, – мастер любовно разглядывает вырезанные в камне прожилки и складки кожи на высокой вые. – Самость, перемещаясь по жизни с высоко задранном носом, частенько спотыкается на ровном месте, что вызывает насмешки окружающих, порождая цепную реакцию усиления таких же носителей эго. Гордец ближе к глупцу, чем глупец к гордецу.

– Но мне казалось ...

– Что Гордыня многогранна? На самом деле она всегда в застывшей маске, под которой двойственность, внутреннее противоречие. Самости не нужна шея, ей ни к чему «смотреть свысока», она по собственному желанию пребывает в пустыне, ей никто не важен. Но, с другой стороны, самости необходимы «зрители», она потребитель чужой энергии. Гордыня живет за счет других, от этого-то шея длинна, но тонка, она нужна и не нужна.

Мастер тянет за край савана, и тот, державшийся на плече Девы, ниспадает полностью. Судя по лицу, ты явно не ожидал увидеть такого (или такую) себя, пусть даже через образ Гордыни.

Дева опирается на меч, острием которого пригвоздила свою стопу. На твой немой вопрос Скульптор, закатив глаза к сводчатому потолку мастерской, тоном утомленного профессора, вынужденного в который раз объяснять одно и то же нерадивому студенту, поясняет: – Гордыня сдерживает эволюционное развитие души, не дает сделать Первый Шаг, это ее суть, ее замысел. Меч Истины в руках самости трансформируется в якорь, в оковы. У Антимира нет своих «инструментов» работы с душой, они есть у Творца, но Лукавый перекалибровывает, перекодирует, переворачивает все, сотворенное Богом, для использования в своих целях.

Ты выглядишь изумленным, но разве не встречался ты с перевернутыми словами, с вывернутыми наизнанку выраже-

ниями и благими деяниями, пущенными ловкой рукой во зло. Самость – главный рычаг Антимира.

– А грудь, почему отсутствует левая грудь?

– А, заметил. У Девы нет сердца, – мастер с сожалением развел руками, – но она не может смириться с своим фактом. Гордыня, в любом облиции, не представляет себя инвалидом или кем-то, обделенным чем-то. В поисках отсутствующего органа она скребет кожу, рвет куски тела в попытках докопаться до истины, найти и предъявить – вот оно. Как видишь, в бесплодных трудах она преуспела, лишив себя левой груди.

– Это чудовищно и... не красиво.

Скульптор мило улыбается: – Самость чудовищна и не красива, ты подметил верно.

Он, взглянув прямо в глаза и сняв улыбку с лица, уже серьезно спросил: – К изображению есть еще вопросы?

Оторвавшись от лишнего одной железы торса, ты опускаешь взгляд вниз, к постаменту, и вдруг замечаешь, что из-под полы длинного плаща торчит железный сапог: левая нога Девы обута.

– Ты нарочно снял правый сапог, чтобы меч пронзил ногу?

– Поступь самости тяжела и оставляет глубокий след, ибо ходит она по трупам, – просто ответил мастер, полагая, что ты все осознаешь сам. Задумайся о сказанном.

То ли скульптурный стол начал медленное вращение, то ли ты сам, желая осязать, впитать, зафиксировать в созна-

нии образ Гордыни, такой притягательный и одновременно отталкивающий, стал обходить ее, выявлять, разглядывать, осматривать, чтобы в конце концов спросить. Вот прямая, безупречная спина, ровные, негибаемые плечи, вьющиеся волосы, тучным водопадом летящие с макушки и обрывающиеся резкой и четкой линией у самого копчика, – все подчинено стремлению ввысь, а там венчает острый шпиль шеи каменная маска, прекрасная и неподвижная, бездыханный слепок жизни, усмешка в сторону мира и насмешка над собой.

– Я запомнил, – говоришь ты уверенно Скульптору, а тот согласно кивает головой и жестом приглашает к выходу, набрасывая саван обратно.

В воздухе появилось движение, шаги, беззвучные доселе, вдруг обрели «голос», пока робкий, осторожный, но на чугунных ступенях лестницы он становится серьезным, значимым, бархатным. Кованые змеи и ящерицы на прощание пытаются укусить или царапнуть, но их железные зубки и язычки медлительны и неуклюжи, эхо шагов уже успокоило свою переключку даже в самых дальних уголках мастерской. У открытой двери мир оглушает своей беспечной и безудержной симфонией в исполнении самых разных инструментов, ты жмуришься, возможно, от яркого солнца, а может быть, и от счастья.

– Я запомнил, – повторяешь мастеру и протягиваешь руку для прощания.



Скульптор смотрит в небо и тоже хмурится: – Гордыня – мать всех пороков, они – послушные дети ее. Не стоит запоминать то, что ты видел, это отпечаток на песке из прошлого. Возьми в руки инструмент, молоток, долото, шпунт, напильник и... сердце и убери лишнее, то, что тебе не понравилось. Сними сапог и вытащи меч из стопы, быть может, поступь тогда станет так легка, что позволит воспарить. Укороти шею и стащи маску безразличия – глаза увидят Свет и тех, кого он озаряет подле тебя.

– Но это так сложно, да я и не умею пользоваться ни шпунтом, ни напильником, слишком много править.

Мастер улыбнулся: – Видел бы ты Деву Иисуса.

– Он был здесь?

– На том самом месте, где стоишь сейчас ты, – Скульптор сомкнул веки, видимо, вспоминая. – Он был в ужасе.

– Не понимаю.

– И не поймешь, – мастер открыл глаза, полные слез. – Иисус смог сделать это за всех, а значит, и каждый сможет сделать, хотя бы для себя.

Он пожал протянутую руку и захлопнул дверь.

# Забавы святых

*Ни ночи плен, что гложет разум  
Воспоминаниями о женской нагоде,  
Ни буйство пира, где мешают разом  
Хлеб и вино в чревоугодной суете,  
Ни власти жезл, когда руки движенье  
На смертный одр отправляет не боясь,  
Но только Истина – твое смятенье,  
Твой искус и единственная связь.*

Распятый на кованом кресте Иисус, венчавший собой шпиль главного городского храма, вынужденный нести на своих плечах не только все человеческие грехи, но и полтора десятка суетливых ворон, облюбовавших перекладину для вечных посиделок, а терновый венец самым бесстыдным образом превративших в гнездо под выведение такого же крикливого потомства, с любовью (а как же иначе) взирал на соборную площадь, шумную сегодня, в ярмарочный день, как никогда. Простой люд с раннего утра заполнил все мощное пространство, выдавив солдатским юмором, ремесленным говором и оборванными, вопящими, словно их режут, но абсолютно счастливыми в своей непосредственности девишками напыщенных дам и чопорных господ высших со-

словий в дорогие заведения и более спокойные места для променада.

Центром этого красочного, гудящего и толкающегося водоворота служил кукольный театр, разместившийся в небольшой двухколесной повозке и едва различимый с высоты застывшего вознесения для Христа. Потоки людского моря, закручиваясь вдоль торговых рядов, раскиданных по краям площади, рано или поздно покидали, подобно отхлынувшей от берега волне, пахнущие сладостями и пряностями, шелестящие шелками и мехами, устланные коврами и свежей зеленью прилавки, притягиваясь к черной кибитке, размалеванной гипертрофированными красными цветами и витиеватыми белыми надписями.

Начиналось представление. Резные деревянные ставни, служившие театру занавесом, на которых неверной рукой была начертана «пляшущая» фраза: «Мы видим мир, а вы – иллюзию», – неожиданно распахнулись, и гудевшая доселе, как пчелиный рой, оставшийся без матки, площадь притихла.

Низкий, утробный голос, изображавший, по всей видимости, одновременно и преисподнюю, и ее Хозяина (его обладатель располагался внизу, за шторкой, между колес повозки), заунывно, но властно прорычал: – Приди ко мне, слуга мой верный.

Из-под потолка сцены вывалился, как подбитый паук, и затрепыхался на невидимых нитях чертенка – при рожках,

с кривыми когтистыми лапами из папье-маше и настоящим крысиным хвостом.

– Я здесь, Хозяин, – сообщил он писклявым женским голосом и публике, и тому, кто прятался за колесами, о своем прибытии.

– Сослужишь службу мне, – проревел Хозяин, – и награжу тебя копытами.

– Козлиными? – поинтересовался хитрый бесенок.

– А то какими же, – возмутился голос из «подвала» театра, – для бычьих недостаточно ты зол.

– Вот черт, – всплеснул руками маленький служка.

– Здесь не кабак, веди себя прилично, – поставил его на место Хозяин.

– Простите, Ваше Злодейство, каков приказ? – кукловод выставил бесенка во фрунт.

– Пойдешь к Отшельнику, узнаешь все про святость, – загробный голос закашлялся.

– Зачем тебе? – весело выкрикнули из толпы.

Бесенок гневно обернулся на крик и топнул пока еще голый стопой: – Это моя реплика!

– Заткнись, смертный, – ответили из-за колеса, – и ты тоже.

В толпе зашипели на разговорчивого зрителя, и тот, промывав что-то типа: – А я что, да пошел ты и сама такая, – погрузился во всеобщее состояние внимания и тишины.

За колесом хмыкнули, и застывший черт, неловко всплес-

нув руками, пропищал: – Зачем тебе?

– Врага надобно знать в лицо, святость есть главный порок для моих будущих подданных, стану понимать, как искоренять его, – низкий голос прокашлялся снова (видимо, вчерашние возлияния не прошли даром): – В недобрый путь.

Створки, обещавшие кому-то видение мира, а кому-то иллюзии, с треском захлопнулись, согнав с крыши театра задремавшего воробья, и площадь выдохнула разочарованием и редкими хлопками. Задние ряды дрогнули под напором очнувшихся торгашей, тут же завопивших: – Соленья, варенья, золото, бриллианты...

Но занавес поднялся (точнее, распахнулся), и восторженным зрителям предстала новая мизансцена. Пещера из клочков бумаги и картона, Отшельник, старец с землистого цвета лицом и синими пуговицами вместо глаз, сидящий неподвижно в углу, и трепыхающийся перед его носом на своих животворящих нитках бесенок.

– Отшельник, я к тебе с вопросом, – с нескрываемыми женскими нотками в голосе сообщил трясущийся перед святым посланец ада.

Полностью обездвиженный старец задвигал нижней челюстью, толкаемой снизу тонким стержнем: – Что волнует Хозяина твоего, коли заставил идти слугу тьмы на верный свет?

– Как догадался, что не сам я? – спросил бесенок, изображая крайнее удивление, схватившись ватными ручонками за приклеенные рога.

– Пещера инока не декольте толстухи

И не карман ростовщика,

Полакомиться нечем, кроме оплеухи,

– раздался голос из толпы, и послышались одобрительные смешки, а ободренный стихоплет закончил:

– И по лбу звонкого щелчка.

– Вот и ответ, – задергал челюстью Отшельник.

Бесенок повернулся к публике задом, согнулся и постучал мышинным хвостом по ягодицам, издав при этом характерный звук. «Зал» взорвался аплодисментами.

– Хозяин спрашивал про святость, – обратился бесенок к Отшельнику, когда народ успокоился, – расскажешь – и я получу копыта, а то уж больно неудобно ходить по земле.

– Пути земные непростые, – согласился Отшельник, хлопав нижней челюстью по верхней. – Что ж, попробую справиться тебе обувку, во имя Отца, Сына и Духа Святого.

Нити, ведущие к рукам Отшельника, ловко изобразили накладывание креста, при этом бесенок отскочил в другой угол, как от ладана.

– Ты больше так не делай, у меня слабая нервная система, – взмолился он, – а пятки жжет слово твое, как на сковороде.

– Я начал говорить, – произнес спокойно Отшельник, – хочешь копыта – терпи. К святости можно прийти тремя Путиями: через Отца, Сына и Святого Духа.

Он перекрестился опять, а едва оправившийся бес поле-

тел в угол заново.

– Под сенью Отца, – продолжил Отшельник, – святость достигается Верой, под сенью Сына – Жертвой, а Дух Святой проведет через Осознание. Понятно ли тебе, балбес?

– Он не балбес, а просто бес, – закричали из «зала», и публика разразилась хохотом.

– Истину глаголишь, раб Божий, – прохрипел, сдерживая смех, Отшельник. – Так понятно ли тебе, бес?

– Откуда ж понять, у нас все по-другому, – обиделся вертлявый гость из преисподней, отряхивая непослушными руками свою черную шкурку. Отшельник вытаращил синие пуговицы на бесенка и спросил: – Что делаешь в чертогах Хозяина с душегубом?

– Сразу на сковородку, и масла побольше, – воспрянул духом чертенок.

– А с полюбовником?

– Сперва любодей извинится перед всеми, как, говорить не стану, а уж потом на сковородку, – рогатое, но пока еще не окопыченное существо потерло руки.

Отшельник довольно закивал фарфоровой башкой: – А воришка?

– Зависит от того, скольких и на сколько надул. Вообще, в рудники к Хозяину, пока не сработает «эквивалент умыкнутого», а потом на сковородку, – бесенок мечтательно задрал черные глазенки вверх. – С маслицем.

Отшельник развел в стороны деревянные ладони: – Зна-

чит, каждый окажется на сковородке рано или поздно.

– Ага, – согласился улыбающийся бес, – кара неизбежна.

– Так и здесь, – заключил Отшельник, – Жертва – самый быстрый путь к святости, Вера – срединный, а Осознание – долгий, очень долгий.

– С адом понятно, а вот с раем – не очень, – вылетела из притихшего «океана» реплика.

– И чего это тебе с адом понятно? – огрызнулся бесенок: – Попадись ты мне, – и он погрозил крикнувшему кулаком.

– Между жертвой Христа и его вознесением три дня, – успокаивающим тоном произнес Отшельник. – Конечно, это метафора, но многие верующие истинно в одно мгновение, не предав, не отступив, возложив на жертвенник самих себя, обрели святость. Посему этот Путь самый короткий, но и самый трудный.

– Где уж многие? – съязвил бесенок. – Вон он, в одиночестве, – и указал пальцем на шпиль собора.

Тут же прямо в рогатую физиономию ударил огрызок от яблока, пущенный из зала чьей-то верной рукой.

– Следи за словами, – хохотнул Отшельник, дернув челюстью.

– Путь Веры – это средняя дистанция. Уверовав, человек не обращает внимания на искусства твоего Хозяина, спотыкаясь и попадая лишь в самые изошренные силки. Вера затрагивает сердце, но не удовлетворяет разум, и поэтому требуется время, несколько жизней, для достижения святости.



– Вера камень точит, – заметили из толпы.

– Я тебя запомнил, – ухмыльнулся бесенок, – предстанешь предо мной, и вода, капля за каплей, будет точить твой лоб.

Сказав это, представитель преисподней на всякий случай пригнулся, справедливо опасаясь в свой адрес яблока, камня или еще какого-нибудь снаряда.

Отшельник покачал головой: – Ты неисправим, но продолжим. Самая долгая дорога – это Путь Осознания, анализ собственного опыта, попытка головой понять то, что познается сердцем. Мучительные ночи, слова разочарования, бытие, подтверждающее обратное, – вот что ждет идущего по этой стезе.

– А если покороче? – последовал выкрик из палатки, увешанной шкурами лисиц, соболей и кроликов.

– Да, народу не понятно, – поддакнул бесенок, уткнув руки в бока и высоко задрвав хвост.

– Можно совсем коротко, – спокойно сказал Отшельник. – Тот, кто идет к святости Верой, несет крест Отца. Его жизнь – разговор с Лукавым, ибо Хозяин есть антипод Творца и по силам только Ему.

Идущий путем Жертвы, несет крест Сына и разговаривает с Богом, что и понятно. Тот же, кто выбрал Осознание, водрузил на спину крест Духа Святого и разговаривает с собой, ибо беседа с собой через Дух есть общение с Создателем, частью которого ты являешься.

– Bravo! – завопил бесенок, выделявая причудливые па

и руками, и ногами, а практически неподвижный доселе Отшельник поднялся в своем углу и низко поклонился публике.

Створки «занавеса» едва успели закрыться, как в них полетели и яблоки, и камни, и черт знает что еще – все, что было в карманах разнуздавшейся толпы.

– Антракт, – загробным голосом возвестили из-за колес повозки, и хохочущий народ потянулся к торговым рядам, в основном тем, что предлагали съестное и напитки.

Возникшее оживление на площади спугнуло ворон, изрядно загадивших перекладину креста, и, пока они делали большой круг над городом, Иисус, облегченно вздохнув, задумался об увиденном спектакле, решая, чем же он закончится.

Не успела уважаемая публика, опустошив карманы, взамен набить желудки жареным, печеным, сваренным в чанах, нарубленным мелкими кусочками, очищенным от шкурок и кожуры, посахаренным, сдобренным, заправленным орешками и изюмом, как занавес кукольного театра с грохотом распахнулся, и уже знакомый inferнальный голос из-под повозки прорычал: – Где ты, слуга мой, предстань сию минуту пред очи красные мои.

Толпа, запихивая на ходу во рты все, что было в руках, ринулась обратно, к центру площади, а бесенок, дождавшись прихода этой «волны», выскочил на сцену и благоговейно склонил голову перед невидимым Хозяином.

– Узнал ли ты о святости? – загудело снизу.

– Узнал, Ваше Злодейшество, все узнал и с вожделием жду встречи с новыми копытами, – подобострастно прошептал бесенок.

– Дерзить не перестанешь если, ждет гнев тебя тогда мой, а не копыта, – прогремел Хозяин. – Докладывай, да поточнее.

Бесенок, подскочив на месте, то ли от нетерпения, то ли рука кукловода дернулась невзначай, скривившись, начал: – Святость, – он трижды плюнул себе под ноги, – достигается постоянной болтовней.

– Что ты несешь? – рявкнули из-за колес. В «зрительном зале» слышались смешки.

– Простите, Хозяин, – опомнился бесенок, – я хотел сказать, диалогом. Тот, кто торопится, – и рогатый докладчик собрался снова трижды отплеваться, но сидящий внизу заорал: – Хватит, все твои слюны у меня на макушке, продолжай без политеса.

Бесенок понимающе кивнул рогатой башкой: – Торопыжки разговаривают с Богом, – чертенок сделал вид, что набрал в рот слюны, но снизу предостерегающе крикнули: – Хм, тут мне не вмешаться. Дальше.

– Кому охота стесать ноги по колени, не торопясь беседует сам с собой, – бесенок с ухмылкой покрутил пальцем у виска.

В толпе раздался голос: – Друзья, ни у кого не осталось яблока или помидора?

– Вам для себя? – откликнулся кто-то.

– Нет, – последовал ответ, – для черта, оскорбляет, подлец, весь род людской.

– Тогда держите, у меня яйцо.

– Прекратите гадить на сцену, – прорычал загробный голос, но яйцо, описав правильную параболу, с треском врезалось в верхнюю часть повозки и некрасивым сталактитом «украсило» сцену.

– Промазал, – выдохнула толпа.

– Говоришь, сам с собой? – продолжили спектакль из-под повозки. – Вот тут можно поработать, мозг – это наше поле. Подправить интонацию, да поменять слова местами во внутреннем диалоге – глядишь, и свернул с дороги путешествующий. Еще что есть?

Бесенок замаялся: – Есть средний путь.

– Ну, – раздраженно ухнул Хозяин. – С кем еще беседует страждущий нимба над головой?

– С вами, Ваше Злодейшество, – выпалил рогатый служка.

– Да знаешь ли ты, сколько со мной говорят?! – повысил голос Хозяин. – Смотри в зал, – при этих словах бесенок развернул физиономию к площади. – Все они, до единого! Но нет меж них желающего, хотя бы одного, идти ко святости.

Толпа взорвалась, в повозку полетели уже не продукты, а булыжник, вперемешку с проклятиями и возгласами возмущения.

Хозяин театра, он же исполнитель роли хозяина преисподней, несмотря на габариты и одышку, довольно ловко выско-

чил из-под колеса, запрыгнул на облучок и, заорав так, что задрожали стекла в домах: – Истинно все мои будете, – огрел хлыстом худющую кобылу, отчего та, встав, как в молодости, на дыбы, рванулась прочь через озверевшую толпу. Хлопанье створок, из которых был «виден мир», стало настоящей овацией, завершившей спектакль.

Иисус, наблюдавший финал со своего «балкона», вспомнив собственные гонения всякий раз, когда говорил людям правду, вынужден был согласиться с неизвестным постановщиком пьесы: для Святого разговор с Богом – краткое и нежное объятие, с самим собой – вечный, не утихающий спор, а с лукавым – древняя забава, бой мешками – кто кого.

# Небеса Не обетованные

*Отвернувшись – опустошаешь, отвергнув – убиваешь.*

Если вы когда-нибудь, устав от бессмысленных деяний и бесплодных мыслей, приводящих в один и тот же темный, загаженный нечистотами пороков, смердящий миазмами лжи и кишачий червями самости жизненный тупик, наберетесь смелости, быть может, таковая еще осталась после долгих метаний по лабиринтам собственных поисков истины, обратиться к Пустоте, вас ждет (приблизительно, конечно) следующий диалог.

Вы, успокоив внутреннюю болтовню и уткнувшись в стену вышеописанного тупика: – Господи, больше нет сил.

Пустота ответит тишиной, и в ее беззвучии вы ясно различите, нет, не голос, но мысль: «Наконец-то».

Иной раз ядро, кипящее внутренней злобой и черным замыслом выстрелившего им, молча плюхается в размокшую землю всего в двух шагах и замирает там блестящим чугуном яйцом, а случается, обескровленный лист клена, отломившись от материнской ветки и спустившись к озеру, взрывает уже приготовившуюся остекленеть гладь, пустив звонкие круги по воде, эхо от которых еще долго мечется в горных кряжах, не находя выхода и покоя. «Наконец-то» от Пу-

стоты и походит более всего на это пляшущее внутри эхо.

Вы: – Что «наконец-то»?

Пустота: – Наконец-то появится Бог.

Вы: – Где?

Пустота: – В твоём мире.

Может показаться, что вы разговариваете сами с собой. Например, как бормочущий что-то под нос ремесленник за работой, или шевелящий губами над задачей ученик, или зубрящий роль перед выходом на сцену актер, или мешающий соседям по палате пациент психиатрической больницы. Но с Тишиной все иначе – говорит она, вы слушаете.

Вы: – А разве Его нет?

Пустота: – Без тебя – нет.

Вы: – Как это?

Пустота: – Бог – творец, но Его творчество есть Пустота (честь имею представиться) без обратной связи.

Вы: – Не понимаю.

Пустота: – Творчество – обоюдный процесс, энергетическое коромысло, по сути. Только начав быть со-творцом, человек проявляет для себя Бога.

Вы: – Снова не понимаю.

Пустота: – Со-творчество – это понятийное воссоздание образа Бога, эмоциональное озвучивание Имени Его, оформление сознанием своего Бога, обогащающее или обедняющее Его Суть.

Когда вполне серьезно заявляют, что без вашей персоны

нет Создателя, можно сойти с ума, невероятно возгордиться или просто не поверить этим бредням.

Вы: – Не верю, чушь.

Пустота: – Вера есть материал скульптора, ткань портного, краски художника. Бог (для нас) становится таким, каким мы захотим увидеть Его, пошить, изваять, написать. Нет Веры – нет Бога, нет ничего.

Вы: – Знаешь, здорово смахивает на лозунги, красиво на-малеванные и высоко повешенные, но пустые и раздражающие.

Пустота: – Тогда еще один, выше всех остальных. Фразу «Человек – творец своего счастья» обернем как «Человек – творец своего Бога».

Красиво? Ведь Бог и счастье становятся синонимами.

Вы: – Может, тогда подскажешь, как пользоваться этим счастьем?

Пустота: – Наконец-то (вот опять) спросил о деле. Прежде всего – молитва. Обращение в молитве к Всевышнему уже создает Его существование, а значит, и признание.

Вы: – Я столько раз молился, значит, мой Бог уже сотворен?

Пустота: – Да, но Он слаб и хил, ведь ты сетуешь на то, что не слышит тебя и не ниспосылает на голову твою вселенские блага.

Вы: – Что правда, то правда. Почему же не могу представить Его, как нужно мне?



Пустота: – Сейчас объясню. Ребенок рисует родителя, которого никогда не видел (в силу самых разных причин), исходя из своего понимания и рассказов других, так же и человек представляет себе Бога особым (личным) образом и изображает Его на бумаге своего сознания, частенько вымокшей и сильно помятой.

В этот момент Пустота наполнена тишиной, в которой и Будда, мастер медитации, не вытерпел бы ни секунды. Она сама (Пустота) не выдерживает внутреннего напряжения и прерывает молчание: – Да, и еще: Абсолют един, но у каждого Он свой, и симметрично, каждый абсолютен для Бога, в этом суть Его Всепоглощающей Любви.

Теперь вы до «краев» наполнены смыслами, они неподвижными «дождевыми» каплями замерли вокруг в ожидании открытия врат вашего сознания.

– Не распахивай настезь, – шепчет Пустота, – они войдут разом и разорвут изнутри.

Вы лихорадочно ищете выход, хватаетесь руками за голову и, в который раз, трусливо кричите: – Не верю.

Пустота: – Не верите ни в рай, ни в ад – не получите ни того, ни другого. То, что существует вне зависимости от вашего сознания, трансформируется под его потенциал, «уляжется» в понятийные ячейки – так происходит генерация иллюзий матричного типа (четкая направленность жизненных путей). Комплекс ваших желаний, не обоснованных духовной действительностью, но являющихся всплеском эгоцен-

тричных эмоций, сооружает иллюзии облачного типа (недостижимость, частое изменение форм, вплоть до полного рассеивания).

Вы: – Хочешь сказать, я витаю в облаках и хожу по кругу?

Пустота: – Скорее, мечтаешь оседлать облако, а ходишь по болоту, перепрыгивая с кочки на кочку.

Вы: – И это из-за неверия?

Пустота: – Все уже сказано, а ты, по привычке, начинаешь новый круг.

Вы: – Неужели вокруг нет ничего реалистичного?

Пустота: – Без Бога – нет.

Вы: – Ты сказал (или сказала), что без меня нет Бога.

Пустота: – Именно.

Вы: – Тогда ни черта не понимаю, ты запутала меня. Без Бога нет реальности, но я-то есть, значит, есть и Бог, и реальность. Абракадабра, не иначе.

Пустота: – Воистину, ты – дурак. Твое существование не является причиной наличия Бога, только твое представление о Нем, Вера в Его присутствие. Атеист, полагающий себя, в отличие от других, трезвым оценщиком бытия и законов мироздания, венчает собой пирамиду Иллюзий. Он есть песчинка, мнящая себя горой, созданной случайным стечением, заметьте, не законов, но обстоятельств, не волей Высшего, а хаотичным слиянием молекул.

Вы: – Так кто же истинный творец, я или Бог?

Пустота: – А вот это уже вопрос вопросов, ярлык глупца

торжественно снимается с твоей вспотевшей шеи. Если отвечать коротко, то Абсолют – творец всего, а ты – творец себя. Когда птенец, плоть от плоти его родителя, готов к первому полету, взрослая птица без раздумий выпихивает подлетьша из гнезда, и дальше он «делает» себя сам.

Вы: – Начиная со-творять Бога, со-творяешь себя? Учишься летать?

Пустота: – Летишь.

Возможно, вы все поняли и нет нужды оставаться в смердящем тупике, но ощущение недосказанности, недозаполненности не покидает вас. Чаша еще может вместить несколько капель, а предложение – три-четыре слова после запятой, и тогда Пустота уйдет. Стены тупика давят на вас уже не столь сильно, а висящие над головой серые, распухшие от влаги тучи пропускают, пусть и нехотя, робкие солнечные лучи, и вы спрашиваете: – Как сотворить Бога?

Пустота: – Какого?

Оказывается, и у Пустоты есть чувство юмора.

Вы: – А Он не один?

Пустота: – Он Един, но многолик.

Вы: – И сколько Ликов Его могу сотворить я?

Пустота: – Четыре. Физический Бог, Ментальный, Астральный и Духовный. Ты касаешься каждого из них, накладывая на себя крест, конечно, если не стесняешься делать это. Начинаешь с Духовного Бога – от чела своего, спускаешься к Физическому – что есть живот твой, затем на пра-

вое плечо – к Ментальному, и влево – там ждет Астральный. Уразумел?

Скучно слушать нравоучения, не подтвержденные соответствующей ученой степенью или авторскими работами в данной области, но Пустота – хозяйка тупика, и вырваться из ее невидимых, но подозрительно цепких объятий не выходит.

Вы: – С понятиями ясно, а вот со смыслами...

Пустота: – Не отчаивайся, ибо отчаяние топит Бога, пытающегося вытащить из пучин безверия тебя самого. Акт сотворения Физического Бога заключается в изменении вашего представления о том, как Он должен выглядеть, будь среди вас, ему подобных. Человеку невообразимо сложно осознать, что все проявленное, весь осязаемый Мир, Вселенная, и есть физическое тело Бога. «Обездвиженному» мозгу проще явить картину пребывания Бога в человеческой «шкуре». Укажи любой на изображение Иисуса и спроси тебя, не Бог ли это, что ответишь?

Вы, согласно кивая: – Бог.

Действительно, человек в молитве не обращается к животному, цветку или камню, и даже задирая при этом очи к небесам, пытается узреть за облаками нечто, подобное себе, иначе призыв не будет услышан.

Пустота, «подслушав» ваши мысли: – Небеса обетованные.

Вы: – Или не обетованные.

Пустота: – Все зависит от вас, но перейдем к Богу Ментальному. Он есть ваше представление, как мыслит высшее существо и что оно может ответить на молитвы. Здесь «краски» на холст накладывает профессия, ученость, статус и прочая поведенческая и социальная шелуха. У крестьянина – Бог-крестьянин, знающий землю, причуды погоды и точное время сева, но Его точно не может быть у Властителя дум или чисел. Бог солдата не будет мяться в своих решениях на выслушанную молитву вояки, как это делает слабое, изнеженное божество юной, благородной девицы, трепетно держащей в нервных объятиях томик поэзии вместо Библии или, на худой конец, устава.

Вы: – А Астральный Бог, какой Он?

Пустота: – А Он будет весел и полон жизни, коли радостны вы, сотворивший Его, или хмур и карающ, когда недобро смотрите на мир сами. Молитва Астральному Богу всегда эмоциональна, не так, как рассудительные запросы в ментал. Обращающийся будет в слезах либо умиления, либо уничижения, со взмокнувшей спиной и разбитым лбом.

Знаете, частенько каменные стены тупика безысходности, обильно смоченные ливнями ваших слез, изгибаются самым паразитическим образом, и вы, в их «блестящем» зеркале увидев свое искривленное отражение, вдруг начинаете улыбаться. Астральный Бог умеет легко перескакивать между горем и радостью, не беспокоясь о последствиях, ведь и то, и другое – иллюзии.

Вы, поглаживая матовые камни своего тупика, шершавые и ничего не отражающие: – Остался последний, Духовный Бог.

– Последний в нашем списке, – уточняет Пустота. – Любый Бог бесконечен. Что же такое Духовный Бог человека? Это степень вашего приближения к истине, насколько широко открыты ваши глаза и уши (в духе, естественно). Духовный Бог всегда правильный, но неполный, в смысле истинности и объемности. Ваше несовершенство есть вуаль на Его Лице. По мере прочтения открывается замысел книги, по мере прохождения становится различима конечная цель пути – Дом.

После сказанного Пустотой тупик разваливается, камни, образующие стены, разжимают свои рукопожатия и нехотя падают к вашим ногам бесформенным и уже бесполезным нагромождением изжитых страхов. Чистое поле открывается взору. Снова начнете строить лабиринты или... обратитесь к Пустоте?

– Да я только что разговаривал с ней! – возмутитесь вы.

Тогда, может, обратитесь к Небесам, пока еще не обетованным?

# Две руки Кармы

*– Вон берег, сэр, земля, земля!*

*– Да, черт возьми, туда смотрите!*

*Но не согласно с нами тело корабля,*

*И скалится Сирена на бушприте.*

Ночь в степи – всегда откровение. Небесный океан, таивший в своих глубинах звездные россыпи при свете солнца, являет их во всей красе взору того, кто, пылая жаром юного сердца, не смеет сомкнуть широко раскрытых глаз и, чутко прислушиваясь к дурманящим запахам полыни и медуницы, улавливает при этом в коротких промежутках бесконечных перепалок стрекочущей саранчи, выявляющей серьезные противоречия между самками и самцами, голоса далеких мерцающих миров.

Маленькая Карма, семилетняя дочь цыганского народа, обожает такие ночи – теплые, пряные, таинственные, уносящие воображение в те выси, которые девочка предполагает за сверкающим яркими точками черным пологом, берущие за душу, тянущие мягкими, но требовательными прикосновениями за руки... Здесь Карма, к своему великому сожалению, вынуждена спуститься с манящих бескрайними просторами небес на прикрывшуюся ковром из шелковистых

трав землю – правая рука маленькой цыганки, словно плеточка, безжизненно висит вдоль тела с самого рождения.

Кто-то сильный, могущественный и очень добрый смотрит сверху, из тех самых зазвездных мест, о которых мечтает девочка, на затерявшийся в степи табор, выставивший свои повозки подковой (что за исполинский конь проходил здесь), в центре которой пляшет языками ветреного танца крохотный костер, а возле него, обнявшись, сидят две цыганки, одна из них – Карма.

– Бабушка, – шепчет она, дергая за бахрому подола юбки старушки, – почему меня так называли? О чем имя мое?

Задремавшая было женщина разлепила веки и пошевелила прутиком угли, отчего искры, весело оторвавшись от тлеющей древесной плоти, взметнулись в воздух.

– Карма – путеводная звезда.

– А кого она ведет? – девочка подскочила с места, пытаясь живой рукой поймать хоть один гаснущий в ночи огонек.

– Душу, – цыганка вынула из складок юбок картофелину, постучала по ней все тем же прутиком, сбивая прилипшую грязь, и кинула в костер: – Душа ведома кармой Адама и Евы.

Карма перестала прыгать за исчезающими искорками: – Значит, она не одна, их две?

Бабушка согласно кивнула: – Путеводное созвездие.

– Расскажи мне о нем, – девочка прилепилась к старушке, а та обняла ее за худенькие плечи и прижала к себе.



– Карма Адама – личная, груз частицы Бога, тот «скарб», что нагрузишь в повозку сам, «содеешь от души». Карма Евы – привнесенное от противоположности. Для Бога карма Евы – эволюция Антихриста, то «добро», что накидают в твою повозку, чтобы облегчить свою.

– Зачем мне чужая? – Карма отпрянула от бабушки.

– Своя карма – это сам берег, с которого ныряешь, чужая – его высота, нырнуть поглубже. Адам не ушел бы из Рая, не будь рядом Евы, – цыганка притянула внучку к себе снова.

– Но в Раю хорошо, зачем покидать его?

– В Раю хорошо всегда, – вздохнула цыганка и смахнула предательскую слезинку, – а вечное «хорошо» есть пустота, пытка для души.

– Почему, бабушка? – каждый ребенок любит задавать вопросы.

– Покой для души – страдание. Душа – это энергия, а энергия – движение. Мы не можем остановить ветер.

Карма, словно отыскав давно потерянную вещь, радостно воскликнула: – И поэтому мы все время идем за ним?

– Да, Карма, мы, цыгане, все время идем за ним, – женщина ласково потрепала жгуче-черные кудри внучки.

– Но другие люди живут в домах без колес, на одном месте.

– Всю жизнь, – эхом отозвалась старая цыганка, задумчиво рассматривая звезды, давным-давно застывшие в ее зрачках. С детства она наблюдала их, обусловленные волей Все-

вышнего, еженощные перемещения, не оставаясь на месте и сама внутри своего созвездия – кочующего табора, ее большого дома на колесах.

Она ласково поглядела на Карму, вспомнив и себя в ее возрасте, такую же беззаботную, свободную и вопрошающую.

– Моей бабушке рассказывала ее бабушка, а той – своя, которая слышала от... – цыганка загибала скрюченные пальцы, звеня дешевыми перстнями и сбиваясь, бормоча имена женщин, давно ставших росой, которую Карма любила сбивать с притихших колокольчиков, выбравшись до рассвета из кибитки и накручивая вокруг нее круги с раскинутыми (всего одной, левой) руками, как парящая птица.

– В общем, – старуха оставила утомительное путешествие по родовому древу, – один из наших предков украл гвоздь, коим должны были прибить на кресте Бога.

У Кармы от изумления глаза полезли на лоб.

– Он спас Бога? – черные вишенки восторженно смотрели на рассказчицу.

– Нет, дорогая, Бога, когда это Ему не нужно, не спасет и сам Бог. Предок не сделал добра намеренно, но случайно изменил предначертанное. Он стал нюансом Самопознания, примером дуальности, когда воровство, грех, как один из аспектов бытия, по сути своей превратился в инструмент для правки и корректировки судеб других людей.

Девочка непонимающе смотрела на цыганку: – Бабушка,

но тогда любой грех...

– Да, любой грех становится кармой Евы для того, кого он коснулся, и кармой Адама тому, кто его совершил.

– Но получается, если мне сделали плохо, то это хорошо? – Карма расхохоталась. – Вот маме-то сказать.

Женщина, улыбаясь веселью внучки, тем не менее серьезно продолжила: – Если тебе сделали плохо, то это плохо для того, кто это сделал, и одновременно хорошо, потому что он, если поймет, что сделал плохо, станет лучше.

– А как же я?

– Когда тебе сделали плохо, то это плохо потому, что ты так думаешь, но результат от этого действия будет хорошим.

Карма перестала смеяться: – Почему?

– Потому что так захотел поступить с тобой Бог, раз допустил это, а он любит тебя.

Девочка обняла женщину: – Как ты?

– Я люблю тебя как бабушка, а Бог – как все бабушки, которых я пыталась сосчитать.

Карма еще крепче прижалась к цыганке: – А что наш далекий-далекий цыган, который утащил гвоздь?

– Забрав принадлежащее Богу, он создал карму нашего народа, – женщина глубоко вздохнула и сильнее прижала к себе внучку.

– Идти за ветром, скитаться?

Цыганка покивала головой: – Искать Бога среди людей.

– Зачем?

– Вернуть Ему похищенное.

– Гвоздь? – девочка посмотрела старухе в глаза.

– Энергию, любовь.

Лошадь, мирно дремавшая в сторонке, мотнула головой и, фыркнув, снова закрыла глаза.

– Так что же, бабушка, в наших повозках, среди утвари, тряпья и лошадиной сбруи прячется украденная любовь к Богу?

Цыганка улыбнулась: – Если хорошенько порыться, да.

Маленькая Карма вскочила на ноги, готовая броситься к повозке в поисках столь ценной вещи. Бабушка взяла ее за руку и притянула к себе: – Найти любовь к Богу на стороне, и даже в старой, выдавшей виды повозке можно, но проку от нее никакого.

Девочка остолбенела: – Но почему?

– Бог не возьмет ее, она ведь чужая и, стало быть, снова украдена.

– Что же делать, бабуля? – Карма запрыгала от нетерпения.

– Искать ее в себе.

– Тут? – девочка ткнула рукой себя в живот.

– Нет, – цыганка мягко подняла ладошку внучки к сердцу, – тут.

Карма закрыла глаза, прислушиваясь к собственному сердцебиению, а старушка охнула и, схватив полуобгоревший прут, полезла в костер выковыривать засидевшуюся

там картофелину. Сноп искр ринулся ей навстречу, обороняя свое сокровище, но цыганка, с упорством разозленных долгой осадой и стойким сопротивлением гарнизона, не отступилась от намеченного и выудила горячую и благоухающую добычу.

– Ну-ка, – обернулась она к девочке. Карма, свернувшись калачиком, мирно посапывала на остывающей земле.

Сверху кто-то сильный, могущественный и очень добрый шептал ей на ухо: – Занимаясь воровством среди людей, вы, цыгане, пытаетесь выкрасть «гвоздь Бога» и через него найти самого Бога. Это энергетическая карма, создающая модель поведения вашего народа. Через что человечество продолжает распинать Иисуса? Через материальные блага – гвозди, их-то и забирают цыгане. Ваша парадигма – одной рукой стянуть «гвоздь» у людей, чтобы другой отдать его Богу.

У тебя же, Карма, дитя мое, жива левая рука, отдающая Мне, но мертва правая, не желающая красть. Имя свое носишь не зря, ибо если один начал, будет и другой, что закончит. Ты есть твой предок, ты, Карма, – его карма.

Старая цыганка заботливо укрыла внучку огромным расписным платком, и ей на миг показалось, что мизинец на правой руке девочки дернулся, прежде чем «покрывало» спрятало в своих объятиях Карму.

## В ожидании

*Разверзнет уста свои в тысячи труб,  
Так весть о Приходе срывается с губ.*

Не знаю, как вы, а я жду Иисуса. Не Светом, восставшим в небесах вторым солнцем, не Гласом, прославляющим праведных и прощающим грешных, а просто зашедшим в гости. Я уже и стол накрыл, хлеб и вино, плоть и кровь Его, на белой скатерти, и стульев поставил тринадцать, вдруг с апостолами пожалует, ну и себе скамеечку в угол придвинул – посмотрю оттуда. Сел, примерился, пригляделся, а корка-то хлебная в плесени, не иначе гниет тело Христово в доме моем. Отхлебнул вина – кислое, знать, и кровь святая во стенах этих не свята. Вспомнил про воду, что из храма приносил, так и та зацвела на третий день. Опустился я, озадаченный, на стул, что во главе стола для Иисуса приготовил, руки на скатерть положил, а ткань ее скорее на саван походит, чем на праздничное покрывало.

Что ж за человек я, и каков дом мой, храм во Храме, коли все призванное держать – сгнило, давать жизнь – умерло, а сиять – не в силах даже отражать. Тут стул подо мной с треском разломился, и я оказался на полу, лицом к лицу...

Могу только догадываться, была ли женщиной, Еве подобной, та, в чьей утробе ожидал я часа своего, или может иную форму имел тот сосуд, ибо, пребывая в нем, слышал я только лязг железа, стоны раненых и проклятия поверженных. Запахи паленой шерсти, выгоревшей древесины и расплавленного свинца, проникающие в мои едва раскрывшиеся легкие через поры материнской кожи невообразимо отличались от ароматов райских цветов и небесного ветра, наполненного светом и радостью, только недавно покинувшего меня. Вся эта гнетущая обстановка пускала многочисленные споры страха в моем маленьком сердце, таком зависимом от пульсаций материнского органа, и я с ужасом ожидал момента нашего «расставания».

Обретя свободу (ограниченного свойства) и разорвав связь с выносившей меня через безоговорочное рассечение пуповины, я избавился на некоторое время от страхов пренатального периода и сам стал активно лязгать железным мечом о щиты себе подобных и, не без удовольствия, вдыхать дымы пожарищ, устраиваемых мной же. Чинимые безобразия носили коллективный характер, что тем не менее не снимает с меня личной ответственности, и казались нормой поведения и единственно правильным способом мышления. Терзая, я не терзался, похищая, не становился богаче, скорее наоборот, и именно так и происходило на самом деле: ненавидел и получал ненависть во след, любил так, что любовью угнетал и стяжал. Теперь и не знаю, кто я в действительно-

сти, очевидно одно: я жду Иисуса.

Не в надежде на помилование, ибо это понятие исключительно человеческое, Бог не милует, не прощает, не сопереживает – Он любит, потому что Любовь есть Его Суть и принцип существования. Помиловать и простить человека под силу только самому человеку.

– Так почему же мне нужен Иисус, раз все могу сам? – спрашиваю я себя, на миг переставая тыкать мечом в окружающий мир.

– Он (Иисус) единственный из людей (обличием) сделал это, как человек: истинно простил и помиловал себя, но через прощение и помилование недругов и мучителей своих, – получаю я ответ из пространства и, на всякий случай, рассекаю воздух своим оружием, словно отмахиваясь от невидимого противника, такова натура человека.

Отличаюсь ли я от всех остальных? И да, и нет. Действуя в общей парадигме, плечом к плечу, в одном строю – сверкают латы на солнце, трепещут флаги на ветру, я имел возможность выйти на шаг, на два, обернуться и посмотреть на свой слепок, медленно растворяющийся там, где я только что находился, и решить для себя – а Иисус мог занять мое место?

И чтобы я не представил себе тогда, это был бы поступок, вне зависимости от его истинности, но я не сделал этого.

Заверещала труба, шеренга вздрогнула и нехотя, но дружно отправилась на... смерть. Хотим мы этого, или нет – подобное стадное бытие неминуемо приводит к гибели, я сей-



час не о теле, а о душе. Управлять одним – искусство, управлять толпой – удовольствие, и тот, кто призван управлять, прекрасно знает об этом. Я же жду Иисуса по той причине, что Он не управляет, но любит, Он призван возлюбить, а это как раз то, чего я лишен, будучи управляемым.

Помните, в детстве, маленький кораблик, привязанный веревкой к вашей руке, умел ходить против ветра и течения. Вы были его Управляющим. Но иногда кто-то выпускал игрушку из рук, даруя ей свободу, жертвуя своей привязанностью (в прямом и переносном смысле). Это был Иисус, его я и жду в гости.

Войди Он сейчас в мою дверь, как в жизнь, вся та ложь, которая толстенным слоем пыли скопилась на чердаке, просочилась, проникла бы сквозь щели в досках потолка, разошедшихся под Его поступью, и просыпалась мне на голову, осев на поседевшей шевелюре шутовским колпаком, а стыд, отбелив щеки, окрасил бы причудливый головной убор багряным румянцем.

Хочу ли я такого позора? Видимо да, раз жду Того, чей приход только и способен погрузить меня в истинное раскаяние. Я обхожу комнату-клетку, поправляю скатерть-саван, трогаю спинки стульев – один, два, три ...тринадцать, все правильно, и маленькая скамеечка в углу. Пока Его нет, начинаю вспоминать апостолов – Андрей, Павел, ...Иуда. Ученик, предавший Иисуса, не я ли потомок его, не по крови, конечно, хотя утверждать наверняка не возьмусь, но по духу

(увы, предательства). И мне ли не жаждать ласковой улыбки Иисуса, слова, всепрощающего, объятий, кои сбросят с плеч моих груз, слой за слоем покрывший кожу чешуей того самого Змия, что нашептывал Адаму, обвивался вокруг ног Евы и жалил в сердце всякого их потомка, пустив яд одной жды в кровь Каина.

– Кайся, кайся, кайся, – стучит мое сердце, – пока ждешь Прихода.

– Не жди, не жди, не жди, – вопиет разум. – Ему не до тебя.

До сих пор я не ждал, голос разума прекрасно встраивается в фаланги, манипуры, хирды и армейские коробки, ему удобно восседать на остриях копий и мечей, доводы его многократно усиливаются, эхом отражаясь от щитов противника.

Сердце же всегда сжималось от страха, слушая подобные речи, а что вымолвить в ответ, когда стянуто горло и сдавлены легкие? Но теперь ожидание стало смыслом существования, спасительным дождем, капли которого, подобно ядрам, сыплющимся на стены осажденного города, рвут нити паутины, в липких объятиях которых я безвольно повис, ибо излишняя активность в сложившейся ситуации только усугубляет незавидное положение жертвы. Паук, который «взял» меня в управление еще в утробе, записав в моем сознании грохот сражений и дым пожарищ, закодировав на уничтожение ближнего поведенческий (Авелев) принцип и вооружив

разум соответствующими инструментами, явно не мирного характера, превратил всю мою жизнь в движение по сплетенным им нитям. Страх начинающего канатоходца перед пустотой, которая есть весь Мир, и доверие узкой и шаткой «дороге», канату, что натянут между заданными точками, как того пожелал протянувший этот канат.

Я жду Иисуса потому, что только Он ходил между нитей, уверенно шагая по водам, исцеляя недуги словом и преодолевая муки и унижения любовью, и только Он, войдя в мой дом, научит, нет, не воспарению над паутиной, но первому шагу с нее.

Я иду к двери и отпираю ее, пусть ничего не остановит моего гостя, когда пожелает Он встать рядом со мной, грешником, в окружении апостолов и праведников, и не устыдится общества того, кто, зная обо всем, вел жизнь, отличную от этого знания. Что давало мое увиливание? Сиюминутную сладость, иллюзорный покой, сомнительное наслаждение от того, что меч мой раскроил череп какого-то бедолаги, опередив на мгновение его клинок. Какова цена такой жизни? Я снова вспомнил Иуду. А ведь он, в отличие от меня, был честен в определении суммы предательства. На миг я представил, как в отворенную дверь моего сознания wpłyвает Чистый Свет, источающий любовь и благость, облаченный в белоснежные одежды и окруженный апостольскими песнопениями. Упав пред ним на колени, замираю в ожидании Слова, и Он не заставляет себя ждать.

– Умнее ли ты брата Иуды, что душу отдал за тридцать сребреников? На что себя обменял?

– Не ведал, что творю, Иисусе.

– Так ли это? – Свет не вопрошает с пристрастием, не давит, не подталкивает.

Конечно, ведал, проносится у меня в голове. Всякая мысль, порождающая деяние, прежде оформления в тонкое тело «встает» перед Вратами Иисуса, которые есть Порог допустимого, граница между грехом задуманным и свершенным, пока сознание еще младенческое.

Будь во мне праведности хоть частица, не думал бы грешить, но ее нет, и Господь Всемогущий таким, как я, овцам заблудшим, даровал Врата, что становятся последней преградой перед падением, и помещены они между сердцем и разумом.

Задумал, но сомневаешься – то не отворяются Врата, отбросил сомнения – отодвинул Христа в сторону.

– Так что, ведал? – мягко повторяет Свет.

Я согласно киваю головой.

– И цену знаешь? – Иисус не меняет интонации любви и сожаления.

Киваю снова: – Больше, чем тридцать монет. Прости, Господи, я хуже Иуды.

Слезы жалости к себе всегда горше и обильнее, чем грусть в отношении к другим. Соленые, они беспрестанно катятся по щекам, а я думаю: – Ведь ни одной слезинки не про-

лил я о Нем, обволакивающим сейчас Небесной Благодатью меня, отдельно «вырванного» из бесконечной толпы хулителей, веком спустя обернувшегося в истово молящегося перед распятием, а еще через столетие лезущего на стены Святого Города с единственной мыслью, и эта мысль не о Христе, и единственным чувством, и это чувство не любовь.

– Вытри слезы, брат, прошу, – говорит мне Свет.

– Не могу, – отвечаю я, – не могу остановить их.

– Я говорю о себе, – произносит Иисус. Его лик, проступивший сквозь сияние, увлажнен живой водой.

– О ком плачешь ты? – спрашиваю я, не решаясь прикоснуться к ясному лику Христа.

– О твоей душе, прекрасной, удивительной, но потерявшейся.

Я, переполненный чувствами, разрывающими изнутри, бросаюсь к Нему, но руки мои упираются в дверь – шершавую, рассохшуюся, изъеденную термитами створку моего сознания. Иисуса нет, как не было и нашей встречи, а если бы и состоялась она, вряд ли разговор случился бы таким длинным. Праведники по одну руку, грешники по другую, не Словом Его судейским, а тяжестью нами содеянного.

И все же, не знаю, как вы, а я жду Иисуса.

# Золотая Птица

*Стоит прислушаться к свисту меча,  
Не перед носом, а из-за плеча.*

Меч положили на плечи раба, рухнувшего на колени подле трона Короля. Монарху хватило одного взгляда понять – перед ним выдающийся экземпляр кузнечного искусства. Выкованное к восшествию на трон оружие имело прямой, стремительный силуэт лезвия, выверенный вес, мощную крестовину, защищавшую длань владельца, пожелавшего прикоснуться к обтянутой кожей буйвола рукояти, венчал которую хвостовик в виде оскаленной львиной головы. Из украшений меч получил гравировку на доле, выполненную столь утонченно, что при беглом осмотре ее можно было и не заметить.

Король привстал с подушек, обеими руками поднял с рабских плеч дорогое подношение и, определив на глаз центр тяжести оружия, опустил этой точкой на бритую голову слуги. Меч замер, словно прилип к макушке несчастного, боявшегося пошевелиться и оттого изрядно вспотевшего раба.

– Bravo, Ваше Величество, – захолопал в ладоши Шут, с неподдельным восторгом разглядывая, впрочем, как и все присутствующие, удивительный клинок.

– Великолепно, – произнес нараспев удовлетворенный проверкой Король и, повернувшись к Шуту, сказал: – Мастера...

Шут не дал господину закончить фразу: – Обезглавить?

Монарх скривился, а паяц замахал руками: – Простите, Ваше Величество, оскопить, ой, то есть ослепить и отрубить правую кисть?

Король недовольно сдвинул брови: – Я когда-нибудь именно так поступлю с тобой, болтун, но в обратной последовательности предложенных действий.

Шут, активно жестикулируя, начал показывать на себе будущие экзекуции (вывешивание на дыбе, колесование, прилюдное сжигание на костре и прочие королевские забавы), корча при этом умильные рожи и извиваясь от вымышленной боли так, что господин расхохотался: – Может, мне и не ждать с этим слишком долго, а? Мастера сюда, живо!

– Хотите наградить, Ваше Величество? – заискивающе пролепетал Шут.

– Не твое дело, собака, – оборвал слугу Король. Подобное обращение – обычное дело для птиц высокого полета, из поднебесья не замечающих дымов пожарищ, съедающих посевы и всяких тварей, ползающих внизу, что кормят их, гордо реющих, собой.

– А как мы его назовем? – не обращая никакого внимания на королевские оскорбления, продолжил Шут.

Монарх взял в руку Меч и высоко поднял его над голо-

вой: – За тем и посылаю.

– Король доверит Имя Меча ремесленнику, простолюдину? – поразился паяц и, ловко изобразив кого-то сгорбленного и шаркающего (видимо, кузнеца), просипел: – Нарекаю тебя... Молот, или нет, Наковальня, а можно попробовать имя моей несравненной жены, крестьянки...

Меч просвистел в воздухе, и его острие замерло в дюйме от кончика крючковатого носа Шута: – Отправляйся, дружок, иначе я найду другого гонца, а заодно и другого шута.

«Я тоже могу поискать другого хозяина, – думал Шут, семеня через дворцовую площадь к воротам. – Еще посмотрим, кто из нас больше шут, а кто – король». Он продолжал бурчать, по привычке изображая языком тела и мимикой все происходящее в его голове, до самого выхода из замка. Стражники долго препирались с Шутом, не желая опустить подъемный мост, выпрашивая у паяца «показать мартышку». Пришлось уступить этим ряженным в железо идиотам, довольные солдаты заржали и заработали воротками, а шут, неожиданным образом превратившийся в королевского гонца, проворчав: – Кретины, – направился к ремесленным мастерским.

По дороге, заметив подходящую по размеру палку, он начал размахивать ею направо и налево, комично закатывая при этом глаза и театрально провозглашая: – Назови свое имя, о, дубовый сук, ибо с именем твоим на устах покорится



мне весь мир.

Красно-желтый полосатый колпак громыхал бубенчиками, дурак распался в своих софистических упражнениях, а его «славный меч» летал в воздухе, сбивая алые головки маков, листву придорожных кустарников и зазевавшихся пузатых шмелей.

Мастерские располагались у подножия замкового холма. Кузня, судя по грохоту и дыму, валившему из полуразрушенной печной трубы, уютилась в самом конце этой пропахшей выделанной кожей, свежеструганной древесиной, сохнувшей на солнце глиной, уже сформированной в горшки и тарелки, гряды. Проходя мимо столярки, Шут кинул под ноги стоящего в дверях владельца пил и топоров свой «меч» со словами: – Поправь, затупился, – и, увидев изумленные глаза столяра, захохотал как полоумный: – Плачу королевским золотом.

Жизнь шута при дворе сладка, словно мед: униформа и кормежка за счет господина, все, что нужно от паяца – молотить языком без усталости в угоду хозяину, но помнить, переборщив в стараниях, можно оказаться на плахе. «Хотя, если поразмыслить, король родился королем, а шутом я сделал себя сам. Тогда кто из нас важнее?» – так рассуждал новоиспеченный гонец Его Величества, вприпрыжку приближаясь к огнедышащей кузне.

– Эй, кузнец, – пропустив какое-либо приветствие, проорал Шут, едва появившись на пороге мастерской, – тебя зо-

вет король.

Мастер, довольно крепкий старик, оторвался от мехов и с удивлением посмотрел на разряженного не к месту посетителя.

– Я знаю, как выглядит королевский гонец, ты не похож на него, – старик вернулся к работе и начал раздувать меха.

Шут не оскорбился (иммунитет, знаете ли): – Король волен посылать любого, всяк слуга его на этих землях – и глашатай, и фаворит – станет гонцом, коли того пожелает владыка.

Мастер снова оторвался от работы: – Слушаю тебя, шутовый гонец.

– Скорее, гончий шут, – опять по привычке, будь она проклята, огрызнулся вспотевший паяц, стянув с головы колпак: в кузнице было жарко.

– Неужто королю не глянулся меч? – хитро прищурившись, спросил Мастер.

Шут, повторив его интонации, передразнил: – Напротив, так глянулся, что ослепил, и теперь Его Величество желает дать оружию имя, для чего и зовет тебя. Собирайся.

– Король решил дать Имя мечу, не одержав им ни одной победы?! – всплеснул руками Мастер и, чихнув, добавил, словно поставил точку: – Оно не приживется.

– Вот и скажешь это самому, – съязвил Шут, – и, клянусь всеми святыми, стоящими вдоль стен королевской часовни, твоя душа уже не приживется в расчлененном теле.

– Эка невидаль, мое тело, да и моя душа, – спокойно проворчал старик.

– Так не любишь себя? – смеясь, поинтересовался Шут. – Что даже не боишься смерти?

Мастер присел на корточки и глянул в печь, видимо оценивая жар.

– Душа, как известно, бессмертна, а в теле моем вся ценность – руки.

Старик протянул сухие, крепкие, как клещи, ладони: – Они выковали королевский меч, их смерть – его жизнь.

Шут задумчиво помял в руках свой колпак: – Так ты пойдешь?

– Да, – помолчав с минуту, вдруг решился Мастер, – пойдём. Имя – опасная вещь, безымянность свободна, поименованность обременительна.

Королевский посланец хмыкнул и подумал, что странный кузнец склонен к философствованиям, а Мастер скинул прожженный до дыр фартук и закрыл печную задвижку.

– Не жалко потраченных дров? – осклабился Шут.

– Идемте, мой друг, – не обращая внимания на сарказм, поторопил его старик, – истлевшее древо против растленной души на кону.

Явно придурок, решил Шут и поспешил за стариком, хлопнувшем дверью. Конвоируя кузнеца мимо столярки, королевский паяц проорал в открытую дверь мастерской: – Мой заказ готов? – и загоготал на всю улицу.

Короля они застали рассматривающим со вниманием свою новую «игрушку».

– А знаешь, Шут, – не глядя на вошедших, сказал он, – на доле имеется гравировка.

– Неужели, Ваше Величество, да благословит Господь столь острый взгляд на долгие годы, – изобразив искреннее изумление, воскликнул Шут. – Разрешите полюбопытствовать.

– Разрешу, но только себе, – оборвал его Король и повернулся к Мастеру. – Ничего подобного я не заказывал.

– Был заказ на меч, Ваше Величество, – спокойно промолвил Мастер, – а надпись – его неотъемлемая часть.

– Тогда извольте пояснить ее значение, – недовольно фыркнул монарх.

Старик взял в руки меч и торжественно зачитал витиеватую надпись: «Приблизившись к Истоку, возвеличишься подле него, отдалившись – исчезнешь в небытии», – после чего одарил Короля взглядом, говорившим: а что здесь непонятного?

Монарх начинал раздражаться: – Слова сии возможно истолковать как угодно, смысл зависит от толмача. Что вложил в это послание ты?

– Приближение к Истоку есть максимальное соответствие копии оригиналу, – Мастер провел ногтем по лезвию.

– Хочешь сказать, у моего меча есть оригинал? – возмутился Король.

– И у вашего, Ваше Величество, и у любого другого, – старик поклонился, протягивая оружие владельцу, – Меч Бога.

– Сейчас же сбегая за своей копией Меча Всевышнего, – весело подхватил Шут, – в столярку.

– Заткнись! – рявкнул Король. – А ты, – обратился он к Мастеру, – продолжай.

– Меч Бога – это Меч Истины, и имя ему «Золотая Птица».

– Странное название для оружия, – промолвил Король, вглядываясь в свое отражение на полированной поверхности. Всего на миг ему показалось, что зубцы королевской короны «украсились» шутовскими бубенчиками. Он заморгал – видение исчезло.

– Золотая потому, что нет ничего дороже Истины, и она (истина) крылата, свободна, как птица, – старик расправил руки, словно крылья.

– Порою лож приносит больше выгод, да и распространяется быстрее правды, – ухмыльнулся Шут и снисходительно посмотрел на кузнеца, стоящего перед Королем в рваных лохмотьях, но с золотой короной на голове. Челюсть отпала у насмешника, и он потерял дар речи, явление в его жизни крайне редкое. Шут нервно потер глаза – удивительным образом символ королевской власти переместился с плешивой лысины старика на монаршее чело.

– Лож скорее расползается, как змеиный клубок, кинь туда горящий факел, а ценность ограничена сознанием по-

родившего ее, что для Универсума – медный грош, – Мастер, сказав это, ощутил на своих плечах горностаевую мантию (именно ощутил, а не узрел), но скрыл изумление и продолжил: – Истина – энергия неоспоримая и прямоточная, это аналогом в плотном мире и является меч, но качество копии зависит от того, в каких руках ему быть. Стоит «Золотую Птицу» взять в руки сути, находящейся под властью эго, – и она обращается в разящее орудие, с беспощадным стальным сердцем и крыльями смерти.

Король с опаской бросил взгляд на лезвие – в отражении его голову венчал шутовской колпак, а с плеч исчезла мантия, уступив место красно-желтому полосатому наряду. Не в силах созерцать подобные перемены (происходящие, видимо, исключительно в его сознании), монарх закрыл глаза и произнес, пытаясь удержать дрожь в голосе: – Всемогущему Господу, по-твоему мнению, меч-то зачем?

– Меч Истины в руках Бога – суть Луч, высвечивающий отклонения от Абсолюта и одновременно указующий Путь к Нему, – ответил старик, во все глаза рассматривая сидящего перед ним на троне шута: – «Золотая Птица» – прообраз, прародитель, идея в тонких планах владения энергией, являющейся самостоятельной силой и подчиняющейся владельцу или подчиняющей его себе, в зависимости от чистоты духа принявшего в руки свои этот символ. Меч несет на себе печать содеянного владельцем. Например, Меч Иисуса – Слово Его.

– Кто же кем управляет? – подал голос Шут, ежась от холода, будто не было на нем никакой одежды.

Старик обернулся к Шуту и, застав его в столь неприличном виде, «снял» с себя горноста и протянул бедолаге: – Сильные владельцы-воители давали имя оружию, понимая всю важность обладания и, самое главное, применения его, приравнивая тем самым сталь как один из элементов к человеческому пути. Экскалибур прославил Артура или Артур свой меч? Возьми в руки Король кельтов тисовый прут и веди в бой рыцарей Круглого стола с ним, изменилось бы что-нибудь? Нет, каждый идущий за Королем сделал бы свое дело, как присягал разумом и чувствовал сердцем. Твори Артур разящим Экскалибуром бесчинства и смерть, вспомнил бы кто в веках имя и его, и кровавого меча? Нет. Но Экскалибур как символ Истины мог взять после Короля только достойный, а поднять с земли оброненную безымянную железку, даже дамасской стали и с рукоятью, инкрустированной алмазами, способен любой.

Король, ерзающий на позолоченном троне в неудобной, обтягивающей одежде шута, чувствуя себя при этом не на своем месте, как-то жалобно, почти по-детски, пролепетал: – Теперь и не знаю, Мастер, мне-то что с этим мечом делать?

– Меч, не отнявший ни одной жизни, не оскверненный кровью, становится Великим Мечом Милосердия. Его сотворчество с владельцем трансформирует сущность оружия убивать даже защищая в символ Смирения Силы, превали-

рование Высшего Блага над личным, – как-то слишком торжественно ответил ему старик в лохмотьях и королевской короне.

– Какое же имя дадим мы нашему мечу? – восторженно воскликнул «горностаевый» шут.

– Мы? – возмутился околпаченный Король. – Нашему?

– Друзья... – примирительно начал Мастер, при этом Шут подумал, когда это мы стали друзьями, может, ты с Королем, но не со мной, а сам Король решил после разговора по-дружески обезглавить старика, больно уж нагл.

– В мире людей оружие получает Имя собственное из гордости владельца, в мире ангелов – из смирения. Обладатель «повышенной» (по отношению к равным) силой на плотном плане искушаем гордыней, на тонком – преодолевает (познает) смирение.

– Вот и станем величать меч «Смирненным», имя как раз для оружия, вы, Ваше Величество, с таким «соратником» непременно завоюете полмира, – захохотал Шут, придерживая для удобства причинное место рукой.

– Не полмира, а весь мир, – абсолютно спокойно продолжил Мастер. – Смирение – антипод гордыни на физическом плане, но в тонких материях через смирение возможно самолюбование, сталкивающее к гордости. Как видишь, тут не до шуток.

– Мы обсуждаем меч воителя, мой меч, – прервал старика Король и стащил с макушки шутовской колпак, – а ты,



несчастный, все о высоком.

– Меч воителя соответствует посоху праведника, как и кисть художника «Золотой Птице» Бога, – возразил Мастер и также обнажил голову, сняв с нее корону. – Кисть, посох и меч могут обрести второго владельца, если вибрации души и кармический фон его совпадает с первым хозяином. Эскалибур долго не давался никому, скрипка Паганини ни разу не звучала так, как у Паганини.

– К чему слова твои? – раздраженно рявкнул Король, приняв горделивую позу (весьма неуместную в его нынешнем облики). – У этого меча один владелец – я.

Старик улыбнулся: – Возможно ли отличить короля от шута, если они поменяются костюмами? Короля королем делает корона, шута шутлом – колпак.

– Но корона сейчас у тебя, – изобразив на лице подобострастность, Шут ткнул пальцем в Мастера.

– Значит, я король, – ответил старик и водрузил позолоченный символ власти обратно на свою макушку.

Тут же воздух тронного зала рассек свист меча.

– Оба лишитесь сейчас голов за подобные речи! – прогремел Король, хотя в руке его был не стальной гигант, а обыкновенный тисовый прут.

Человек, как известно, в отличие от животного, обладает сознанием, сознание же, что известно, но не достоверно, обладает качествами, способными эти отличия стереть. Кто я? Может, и вправду шут, смешной от того, что обнажен соб-

ственным сарказмом, выявляющим скудость и нищету души, и меч мой – Слово, разрубает ткани, под которыми прячусь сам? Или я мастер, с неведомо откуда взявшейся мудростью, знанием, свалившимся мне на плечи горностаевой мантией величия того, кто выковал меч, которым ничего не совершенно, но лезвие его уже погрязло в обсуждении регалий, ему положенных (но не заслуженных)? Скорее всего, голое тело шута запихнули в сброшенный фартук ремесленника и, оглядевшись по сторонам, сорвали с мастера корону (она мешает работе в кузне), отчего получился весьма бравый король, славно размахивающий сейчас деревянным и, напоминаю, безымянным мечом.

– Пожалуй, настало время дать имя Мечу, – вдруг совершенно серьезно заметил пригнувшийся от неожиданности Шут.

– Моему Мечу, – горделиво произнес Король, умильно отковыривая почки на своем прутике.

– Нашему Мечу, – подвел черту Мастер, протягивая корону Шуту.

– Мне бы чем-нибудь прикрыться, – Шут повертел в руке сверкающей короной. – Отдам за набедренную повязку.

– Мою корону! – взревел монарх и рука его с зажатым прутком невольно поднялась вверх.

– Ваше Величество, – примирительно вступился за Шута Мастер, – верните паяцу его костюм в обмен на свою собственность, и дело с концом.

Король оглядел шутовской наряд на себе и удивленно произнес: – А он мне нравится, – и, довольный, уселся на трон, указав при этом прутиком на собеседников: – Давайте Имя.

Королевский паяц натянул на пояс корону, словно обруч на бочку, и уже не смущаясь заявил: – Шут – пересмешник, он не создает, а искажает, не называет, но обзывает. Мною нареченный Меч станет шутовским, ненастоящим, останется деревянным. Ваше Величество, не мне, находящему Истину через искривление уже искривленного, высмеивавшему ранее высмеянное, наградить Словом то, что прямо от рождения.

Король поднял лежавший возле трона шутовской колпак и бросил своему паяцу. Бубенчики на нем радостно звякнули, оказавшись в руках хозяина.

– А что скажешь ты? – обратился он к Мастеру.

Старик развел в стороны жилистые руки, способные разогнуть конскую подкову и вогнать пальцем гвоздь в доску, покачал седой головой и ответил: – Я всего лишь проводник Идеи из мира грез в мир осязаемый и не даю ей имя, как не назвал свое творение Господь, передав Мир, Им созданный, Адаму, и уже тот (вкупе со всем своим племенем) именовал Творение Бога, вкладывая в названия смыслы, им понимаемые, занимаясь, по сути, сотворчеством. Ваше Величество, вам, как владельцу Меча дать ему Имя.

Монарх, подперев рукой подбородок, задумался. Годы ожидания престола приучили его к терпению и скрытости

собственных помыслов. Он видел, как груз ответственности гнет спину отцу (Король умер, да здравствует Король), как избегали любой помощи владыке придворные, как опускали глаза, когда требовался ясный взгляд, и прятались по углам, не желая подставить плечо. Теперь пришла его очередь. И Мастер, и Шут высказались, спасибо и на этом, осталось его решение, и ему быть.

– Отчего же мне, правителю земель, границ которых не узреть с самой высокой башни замка, владельцу тысяч поданных, заселивших эти земли, а стало быть, и их душ, не позаимствовать имя своему Мечу у Бога? Назову его Золотой Птицей.

Он поднял меч над головой и торжественно произнес: – Напекаю тебѧ Золотая Птица.

Король обвел многозначительным взглядом присутствующих, направляя острие оружия на каждого. Ни Шут, ни Мастер не преклонили колен, не склонили голов. Взбешенный монарх негодуяше воскликнул: – И что все это значит?

– Не сработало, – весело заметил паяц, расплывшись в бескрайней улыбке.

– Это значит, Ваше Величество, что меч остался тисовым прутом, – кузнец так же улыбнулся Королю.

Монарх повертел кистью увесистый кусок железа и, удивительное дело, не оскорбившись, спросил: – Держу в руке настоящее оружие и не понимаю твоей аллегории.

– Обладатель Золотой Птицы не нуждается ни в шуте,

приносящем истину сознанию речами, искажающими реальность, ибо она есть иллюзия; ни в мастере, приносящем дары, сотворенные не самим, а на стороне, – кузнец не переставал улыбаться: – Деревянный меч обернется настоящим, когда мы исчезнем, Ваше Величество, из твоей жизни. Пока же займем полагающиеся места: Король на позолоченном троне, Шут рядом на подушке, а Мастер в кузне, у печи и наковальни.

# Шар на песке

Идея перекачивалась Высшим Сознанием, как тестообразная субстанция в умелых руках хозяйки. Разрозненные образы, частицы полунамеков, неясные видения силой мыслей-ладоней стягивались вместе, сбивались в единое, взаимосвязанное и взаимозависимое, интегрируясь и сливаясь в шарообразную форму, которая, единственная, позволяет своим внешним натяжением удерживать внутренние напряжения. Нечто подобное, но несущее в себе иной вибрационный оттенок, уже спущено воплощенным сознанием в плотные слои Лучом Христа. Души, получившие этот код, выбраны для восхождения через Смирение, чье качество подвижности соответствует физическим свойствам Воды. Символ Христианства – «Шар в воде», но то, что «стряпуха» любовно откатав в ладонях, готовится бросить в шипящее масло сознания вновь посеянных душ, окрасит восхождение оттенками Покорности, что своей окаменелостью схоже с Минералом, и символом приходящего Ислама станет «Шар на песке».

Тень от скалы узким длинным лезвием «разрезала» пустынный, лишенный каких-либо признаков жизни склон и упиралась в одинокий валун, оторвавшийся когда-то от гра-

нитного материнского подола и закончивший свой не длинный, но долгий путь здесь. Его округлившись, как это бывает с возрастом, бока еще помнили то время, когда нынешнее, изнывающее под палящими лучами бесконечного солнца ложе было морским дном, и волны, ритмично и беспощадно вгонявшие острые соленые струи в скальные морщины век за веком, однажды раскрыли, расщепили внутренние связи, вырвав кусок из родного тела. Но, упав к материнским ногам, будущий валун не нашел покоя, те же волны, гонимые вечным дыханием океана, занялись его детской угловатостью и неуклюжестью. По мере спрямления углов и сглаживания остrokонечных ребер обломок скалы учился «ходить», притяжение земного ядра усиливалось давлением толщи воды, на этих-то костылях он и добрался за несколько десятков тысячелетий до того самого места, где, вследствие глобальных подвижек земной коры, потерял соленую мантию и за пару веков окончательно обсох на разъяренном солнце, превратившем округу в пустыню.

В таком виде и застал его мальчик-пастух с темной кожей, карими, почти черными глазами и чистой, как небо над головой, душой. Измученный жарой и долгим переходом, он давно заметил валун в скальной тени, но его упрямые подопечные, обнаружив скудный островок пожелтевшей травы, не желали покидать его пределов, несмотря на то что скромный клочок редкой в этих местах фауны был вытоптан и повыдерган ими с утра. В конце концов сообразив, что козы

вперемешку с овцами будут дощипывать вожделенную лысину до полного уничтожения, мальчик отправился в спасительную тень один. Прислонившись спиной к теплomu, но не раскаленному валуну, он блаженно закрыл глаза и погрузился в негу.

Что, в сущности, нужно юному сердцу? Ветер, треплющий волосы, камень, обнимающий спину, да мир, от края и до края – более ничего. От ощущения истинного блаженства, покоя, какой встречается только в одиночестве тишины, столь редкой среди людей, телесной истомы, ценимой скорее на склоне лет, нежели в отрочестве, не хотелось ни думать, ни дышать, ни шевелиться.

Легкий, едва различимый шорох заставил мальчика открыть глаза. К валуну, выбрав, видимо, в качестве ориентира уткнувшуюся в песок пятку пастушонка, среднего размера скарабей деловито катил свой навозный шарик. Жук ловко работал лапками, и его имущество, несмотря на липнувшие к нему песчинки, довольно быстро приближалось к тенистому укрытию, уже облюбованному мальчиком. Периодически усатый хозяин взбирался на свой перекаати-дом, замирал на несколько секунд и снова с невообразимым упорством двигал его по песчаной дороге.

Пастушок прекрасно знал повадки скарабеев, а посему хоть и внимательно, но без любопытства поглядывал на шуршащую процессию, тем не менее испытывая при этом непонятное волнение. Он морщил лоб, пристально рассматривал



жука, почесывая затылок, но не мог распознать причину своего беспокойства.

– Странный жучок, не правда ли? – вдруг раздался голос над головой.

Мальчик вздрогнул и подскочил: на валуне, скрестив ноги, сидело странное существо. Полупрозрачный, будто слепленный из слюды, человек с чертами лица взрослого мужчины, но ростом пятилетнего ребенка. Испуганный мальчик видел сквозь тело нежданного гостя небо и полоску горной гряды.

– Здравствуй, Мухаммед, – дружелюбно произнес Прозрачный: – Я – Гавриил.

– Знаете меня? – пролепетал ошарашенный пастушонок, не веря ни глазам своим, ни ушам.

– Хочу узнать, – ответил загадочный «Прозрачный», назвавшийся Гавриилом.

Видя, что собеседник не проявляет признаков агрессии, даже скорее почувствовав это, Мухаммед осознал, что находится в безопасности, и спросил у незнакомца: – А что не так с жуком?

– Направление, – Гавриил улыбнулся и повторил: – Направление.

Мальчик обернулся к скарабею, пригляделся и через секунду догадался: – Точно, он тащит шарик на восток, а не наоборот.

И сделал вывод: – Скарабей сошел с ума.

– Нет, – «Прозрачный» отрицательно покачал головой: – Его притянул камень, как и тебя, как и меня.

– Вообще-то меня притянула тень скалы, – возразил Мухаммед.

– Но к камню, – парировал «Прозрачный».

Мальчик разглядывал удивительного собеседника, как пытаются уловить границы горячих потоков воздуха в жаркий полдень, пляшущих перед взором плавными струящимися линиями: – Кто же ты, пришедший сюда вместе с жуком и человеком?

– Я ангел, – сказал «Прозрачный». – Ищущий пророка. Хочешь ли ты, Мухаммед, пасти не коз, но людей?

Мальчик рассмеялся: – Возможно ли такое?

На сей раз Гавриил покачал головой утвердительно: – Да, люди не овцы, но собрать их в отару несложно, они и сами не прочь, дабы не разбредаться на пути, несущем опасность.

– Почему я должен стать пастухом?

– Не почему, и не должен. Просто я сейчас встретил одинокого мальчика, и если он согласен, я приду через двенадцать лет со Знанием и ты станешь избранным, пока же – решай, – ангел поменял ноги, перебросив правую на левую.

Мухаммед задумался: – Я ничем не примечателен?

– Нет, я могу поискать другого.

– Ты знал, что я буду здесь?

– Да.

– А что еще ты знаешь?

– Я знаю, что ты согласишься.

Тень, обнимавшая валун, подползла к Гавриилу, но не посмела коснуться его стоп и искривленной улыбкой стала обгибать фигуру ангела. Мальчик, нахмурившись, смотрел на начинавшего сиять внутренним светом собеседника.

– Допустим, ты знал, что встретишь меня, но жук-то здесь при чем?

Ангел, неторопливо раскачиваясь из стороны в сторону, ответил: – Он символ того, что тебе придется делать.

– Катать навозный шарик? – искренне удивился мальчик.

– Мухаммед, – строго произнес ангел, – этот навоз – питательная среда для новой жизни, дом для личинки. Пророку нового слова катить свою мудрость с востока на запад. Скарабей знает, что делает, а посему не останавливается, пока не скинет шарик в воду.

– Что за Знание хочешь передать людям ты, и зачем тащить его к воде? – Мухаммед, при всей своей младости, умел задавать вопросы.

– Слышал ли ты о Христе? – спросил ангел.

– Нет, – подумав, ответил мальчик.

– Он принес людям Знание о Смирении перед низшим, – Гавриил заметно воссиял при этих словах.

– Ты сообщил ему? – поинтересовался юный пастух, положив на ладонь скарабея вместе с шариком.

– Нет, – улыбнулся Гавриил, – не я, Бог, поэтому Знание это подвижно, как вода, и имя Христа – Рыба, он плавает в

воде вокруг Шара Истины.

– А Знание, которое принесешь ты, похоже на навозный шарик? – зашелся в немом смехе Мухаммед.

– Знание, которое принесу я, будет Покорностью Высшему, а пророк, вышедший с ним к людям, получит имя Скарабей.

– Кто же даст его тебе? – удивленно воскликнул мальчик.

– Тот, кто дарует все в этом Мире, – Бог, – Гавриил снова воссиял, пульсируя всем прозрачным телом.

– Почему Знания разные?

– Бог, «катая» в руках один шарик, делал это вращением справа налево, а другой – в обратную сторону. Истина, оставаясь сама собой, сменила направление Пути ее достижения, – Гавриил сложил свои прозрачные ладони домиком и показал, как Всевышний лепит знания, становящиеся целыми религиозными учениями.

Мухаммед впервые в жизни разговаривал с ангелом, и манера поведения небесного существа при полном отсутствии крыльев, как и манера выражать свои мысли, приятно поражали мальчика. Посланник Всевышнего вел себя как равный, не громыхал раскатами, не искрил молниями, а вполне душевно светился, излучая располагающее к себе чувство спокойствия и теплоты.

– Кстати, Гавриил, – начал осмелевший пастушонок, – зачем людям Скарабей, если уже есть Рыба?

«Прозрачный» будто ждал этого вопроса: – «Скарабей»

для тех, чей разум не холоден, но тороплив, не расчетлив, но импульсивен. «Горячие» души предпочтут Шар на песке.

Пусть Мухаммед не был избранным, но в сообразительности и тонкости ума мог поспорить со взрослым философом: – Знает ли Всевышний, куда приводит Скарабей?

«Прозрачный» удовлетворенно улыбнулся: – Да, миры, выбравшие путь Покорности, теряли эмоциональность, ...но достигали высот в другом.

Мальчик задумался, в зажатом кулаке жук, толкая пальцы шариком, продолжал искать выход. Мухаммед ослабил «объятия» и опустил невольника на землю. Тот, по всей видимости быстро сверившись со своим внутренним компасом, развернулся на запад и торопливо покатиł собственную вселенную обычной дорогой.

– Зачем Скарабею тащить свое Знание к Рыбе?

– Чья религия окажется сильнее и многочисленнее, тем путем и пойдет в конечном итоге общая эволюция посеянных на планете душ. Шар на песке может скатиться в воду, а Шар в воде – вывалиться на песок, – сказал ангел, подбирая слова, большая часть которых была все равно не знакома Мухаммеду, но смысл произнесенного совершенно неожиданно оказался ему ясен. Понял это, видимо, и Гавриил, который, бросив бесцветный взгляд на удаляющегося жука, спросил: – Ну, что решаешь?

– Ты же сказал, что я соглашусь, – лукаво ответил Мухаммед, ему нравился ангел, излучавший мягкую любовь.

Гавриил улыбнулся: – И твой выбор?

Мальчик оглянулся на скарабея, откатившего свое богатство уже на значительное расстояние. Жук явно устал, движения его лапок были не столь точны и быстры, но упертый скарабей продолжал делать свою работу, возложенную на него Матерью Природой и той искрой, что оживляет своим присутствием даже неподвижные предметы Божьего Мира.

– У меня ведь есть двенадцать лет, достаточно, чтобы хорошенько подумать, – сказал Мухаммед, вернувшись к ангелу.

– Двенадцать лет есть у меня, чтобы привести тебя к Знанию, встречаясь каждую ночь во сне, если, конечно, ты согласишься стать Пророком, но это нужно сделать Здесь и Сейчас, – Гавриил развел руками: – По-другому не получится.

– Почему? – удивился и расстроился Мухаммед.

– Если я дарю Знание целиком одномоментно, ты, да и любой на твоём месте, сгоришь.

Гавриил приподнял правую руку и повернул ладонь особым образом. Луч солнца, пройдя сквозь прозрачное тело, вышел из него яркой узкой полоской и упал на спину скарабея. Жук вспыхнул, и через секунду возле шарика на песке осталась маленькая горстка пепла.

– Зачем? – вскричал испуганный мальчик.

– Это акт его вознесения, – торжественно произнес ан-

гел, – жертва, принесенная твоему сознанию.

Потрясенный Мухаммед неотрывно смотрел на одинокий обездвиженный шарик: – Он приполз к камню на свою погибель.

– Каждый когда-нибудь приходит к своей Голгофе, – тихо произнес Гавриил.

– Мне неизвестно то, о чем ты говоришь, – на глазах мальчика навернулись слезы, – но скарабея мне жалко.

– Для чего люди, доверившие тебе своих овец, держат их? – ангел смотрел на Мухаммеда ласково, но вопрос был задан со строгими интонациями.

Мальчик непонимающе развел руками: – Шерсть и...

– Еда, – закончил за него Гавриил, – ты пасешь еду, животные будут умерщвлены, Мухаммед, пастух несет смерть пастве. Спрашиваю тебя, мальчик, последний раз: согласен ли ты стать Мухаммедом-Пророком, несущим пасомым своим Жизнь?

Будущий пророк вытер слезы с лица и ответил Гавриилу, сияющему над валуном, над скалой, над Миром: – Ты знал, я согласен.

– Тогда подними шарик с песка и отнеси его к ручью, там, в низине. Знаешь?

Мальчик кивнул головой.

Ангел поднял прозрачную руку для прощания: – Личинка скарабея жива и готова войти в мир. Встретимся через двенадцать лет.

После чего растворился в горячем нимбе древнего куска скалы, проделавшего долгий путь, дабы подпереть однажды усталую спину Пророка.



# Черные одежды

1

Адам не был модником, но он был первым, по известным причинам, кто прикрыл часть своего Божественного тела иной материей (фиговым листком), при этом, как утверждают знатоки, ему не было холодно, ему было стыдно.

2

Читателю наверняка знакома ситуация, когда, задавшись неким вопросом и не получив сколь-нибудь удовлетворяющего ответа, начинаешь погружаться в мучительные ментальные скитания, переходящие в меланхолию, сопровождающуюся изнуряющей бессонницей, излишней потливостью и не к месту извергающимся желудком. Вот и я оказался в подобном положении, глядя на служителей церкви, в большинстве своем облаченных в черные одежды, вопрошая сам себя: – Иисус, представляющий собой Христианство, будучи символом Веры и Вознесения, синонимом Любви, не изображается в черном обликии, но люди, следующие Его Пути, упорно облачаются в этот цвет, подчеркивающий их противоположность, их «низость» по отношению к Сыну Божье-

му, который неоднократно говорил о равенстве всех душ перед Отцом Небесным.

– Где же тот «исток», то «первоначало», кто вручил портному нити цвета тьмы дабы он, применив свое искусство, пошил одежды для ищущих Христа? Ведь коли нора, из которой выполз Змий, черна, как глаз ворона, не таится ли Лукавый в складках монашеской рясы, не свернулся ли скользким клубком в темном кармане, не прикинулся ли шнурком капюшона, легко нашептывая искаженную истину, меняя буквы в Имени Бога, капая ядовитой слюной под ноги Идущего, обжигая стопы его и замедляя движение? Не презрен ли одетый иначе тому, кто носит особый крой и цвет, кто отмечает «своих» от «чужих» по оттенку, забывая напрочь о том, что различий нет никаких, ибо Искра Божия несет Свет и Любовь, а они неразделимы?

– Ну что привязался к одежде, так положено, – возразит читатель.

Открою секрет – я монах. Нет, конечно, не тот, что сидит в келье возле свечи и все время, денно и ночью, молится. Но, по сути, по сути, я монах. Посудите сами. Я одинок, люблю Бога и предпочитаю в одежде всем цветам черный. Все совпадает. Есть ли у меня келья? Да вся моя жизнь – келья. Бытие слишком походит на убогое жилище отшельника, я зажат стенами обстоятельств, а в пыльных углах с комфортом поселились многочисленные страхи. Одинокая свеча-солнце с трудом пробивается сквозь тучи обязательств, а среди мно-

жества лживых и пустых слов лежит в одиночестве на сердце скромным молитвословом обращение к Богу.

Как видите, присутствуют все признаки настоящего служителя, душа коего жаждет любви Всевышнего и ответов от Него же.

Мне объясняли (те, кто мог), что черный – цвет торжественности и авторитета (последнее смущает особо), но, думаю я при этом, это же и цвет тьмы (вполне характерно для нашего дуального мира). Не надевают ли черное самые отвязленные разбойники и душегубы, для соития с ночью, а также имея в виду практичность подобной расцветки, скрывающей и грязь их помыслов, и кровь их жертв? И не смущает ли служителей церкви черное оперение крыл Падшего Ангела?

– Черный цвет монашества, – возражали мне, – символ умирания для мира, чистое поле для проявления Света, ибо изначально «была Тьма».

А нужна ли Богу «смерть» монаха, являющаяся, по сути, искусственным погружением в особое бытие, вынужденное, для поддержания собственной энергетики, предлагать, и при этом весьма настойчиво, узкие правила во всем, в том числе и в одежде?

И что чувствует душа, запертая в теле, обряженном в черный балахон, взывая к Богу через подобие средневековых фортификационных сооружений? Не слабы ли надежды узника, смотрящего на голубое небо сквозь узкое решетчатое

окно, выдолбленное в толстенной каменной кладке тюремной стены, у основания которой еще и вырыт ров, заполненный темной водой, кишашей крокодилами?

Вот тут бы и обратиться к кому-нибудь компетентному, а кто в Мире Бога знает больше всех? Бог.

– Господи, – вскричал (а может, и прошептал мысленно) я, – подскажи ответ.

И Всевышний, любящий меня безусловно и безмерно, тут же ответил: – Эго.

### 3

– Монах монаху – рознь, – авторитетно заметил борода-тый мужик, торговавший в рядах репой: – Вот, к примеру, овощ репа, с виду все головы одинаковые, – и он ловко выдернул из зеленовато-желтой горки два пузатых, увесистых плода, – а все же разные.

– В чем же отличие по-твоему, мил человек? – хитро прищурившись, спросил обряженный в протертое до неприличного размера дыр серое рубище старик, назвавшийся минутой ранее отшельником Никоном.

– Монах, стало быть, – проговорил тогда торговец, – разглядывая деревянный крест, болтающийся вокруг шеи покупателя на пеньковой бечевке. И пока старик выбирал товар, не трогая руками, а только «ощупывая» лучистыми, светло-голубыми глазами, завязался разговор.

– А отличие, старче Никон, – со знанием дела ответил бородач, – внутри. Снаружи-то корочка одинаково тонкая да желт бочок, что у одного, что у другого. Знать, надобно ножичком ковырнуть, и тогда различия прояснятся.

– Да тебе, господин хороший, не с корнеплодами столь ценными мыслями делиться и не с покупателями, вроде меня, неучами, а с семинаристами безусыми, но учеными, – рассмеялся старик, с интересом разглядывая продавца-философа.

– А я и не прочь, – с улыбкой отозвался тот, укладывая репу на место, – отсюда людей хорошо видать, даже и в кожуре. Взять тебя, хоть ты и отшельник, но не такой, как все церковные служки.

– С чего это ты взял, уж не по одежке ли? – удивился старик.

– Именно, – согласился торговец, – пошто не в черном, как положено уставом? А коли не как все одет, знать, не как все и думаешь.

Никон ухмыльнулся, отметив про себя неожиданные умозаключения собеседника, а бородач, словно опытный рыбак, почувствовал, что добыча проглотила наживку, и «подсек»: – Скажешь, отчего не в черном, выбирай товар, любую голову, что понравится, денег не возьму.

Никон, протянув правую руку к горке, «поиграл» пальцами и схватил самую крупную репу: – А зачем тебе?

Торгаш, увидев выбор отшельника, недовольно помор-

щился, но, взяв себя в руки, широко улыбнулся: – Вдруг поменяю расцветку фартука или фасон панталон, глядишь, и продажи пойдут бойчее.

– Ты и впрямь философ, – рассмеялся Никон и, вернув на место корнеплод, ткнул пальцем в самую маленькую репку: – Расскажу, но возьму эту.

– Почему сменил выбор? – удивился бородач.

– Потом поймешь, – ответил старик и, облокотившись на прилавок, начал: – Душа выбирает цвет во всем, не только в одежке. Думаешь, видишь мир в тех же расцветах, что и я? Ан нет, по-разному.

Старик кивнул на горку корнеплодов: – Как твоя репа на вкус.

Бородач недоверчиво посмотрел на отшельника и, стащив с головы картуз, сунул Никону под нос приколотый к нему цветок василька: – Какого цвета?

– Название у предмета одно, видим его мы по-разному, – отшельник помолчал. – Видим и чувствуем.

– Ну пусть так, – согласился торговец репой, – а одежда-то на что влияет? Вот твоя, к примеру?

Старик провел рукой по своему нищенскому одеянию: – Не могу носить белое – не дорос, но и черное противно мне, оттого-то и выбрал серое.

– Между, значит, – вставил бородач.

Никон кивнул.

– Ну а черный-то чем не угодил, вон, все носят, – торговец

посмотрел по сторонам и остановил взгляд на своих кожаных нагуталиненных сапогах.

– Душа, как Свет Божий, не приемлет черноты. Голос души высок и тонок, голос же всего очерненного груб, низок и губителен. Свет души – лучистый и «раздается» во все стороны. Чернь, наоборот, поглощает, забирает и не возвращает, замыкая все на себя.

Старик поднял глаза к небу: – Спаситель носил светлые одежды и в черных сердцах обидчиков видел Божий Свет, потому и прощал гонителей.

– А если силком натянуть на тебя черную робу, дорогую, в бархате и расшитую камнями, неужто изменится мир твой? – лукаво спросил торговец и заулыбался, представляя тощего седовласого Никона в царском одеянии.

– Не сразу, но изменится, – серьезно ответил отшельник.

– Неужто вещь, пусть и не трехгрошовая, свернет с Пути? – загоготал на всю ярмарку бородач. – Так и знал!

– Не вещь, дыхание ее, – промолвил без обиды Никон.

– Загадками говоришь, – нахмурился торговец, уже пожалев о разговоре, который отпугивал покупателей от его прилавка, предпочитавших обходить стороной спорщиков.

– А в загадке и кроется ответ, мил человек, – радостно подхватил старик. – Чем темнее цвет, тем тяжелее дыхание, а у черного только вдох. Сможешь ли ты существовать, все время вдыхая, забирая, втягивая? Хватит ли гибкости тканям душевным вместить Вселенную, не разорвавшись? Ты

тянешь, а Бог дает, он не противится твоему желанию, хочешь все, все и получишь, но вместишь ли?

Торговец почесал затылок и водрузил картуз на макушку: – Это все равно, что кушать репу и...

– Не избавляться от нее, – усмехнулся Никон. – Вот в какое положение становится душа, облаченная в черноту.

– Для чего же церковь одевает служителей своих в такую одежду? – искренне удивился бородач.

– Чтобы оставить душу в своих стенах, не дать ей вырваться на волю, – Никон вытер рукавом вспотевший лоб.

– Богохульствовать изволите? – совсем по-жандармски осведомился торговец, уже со страхом бросая осторожные взгляды по сторонам.

– Те, кто писал каноны, изволил делать это, – спокойно произнес старик и добавил: – Ну что, мил человек, заслужил я твоего товару?

Бородач поморщился: – Ничего такого не сказал ты мне, чтобы отдал я крупную репу, но слово торговца...

– Как раз и стоит той маленькой, что я выбрал, – рассмеялся Никон и положил в карман самый мелкий плод: – Вот тебе на прощание слово мое: подумай, что происходит со всяким овощем, а хоть бы и фруктом, когда он загнивает?

– Ясное дело, чернеет, – буркнул торговец и осекся.

– Так вот, – продолжил Никон, уже отходя от прилавка: – Чернеет от того, что сгнил, или гниет от того, что сорван был с ветки, отлучен от Истока, закупорен в черные одежды.



В начале было Слово. Имеется в виду в начале сотворения чего-либо, возможно, просто предложения, возможно, просто рассказа, возможно, просто Мира. Отвечая мне, Бог сказал: «Эго», – значит, это Слово было положено им в начало, думаю, изменения моего сознания в части восприятия черного цвета. Тогда стоит следовать уже имеющемуся перечню действий, но двигаясь параллельным Путем, да простят мне ревнители в черных балахонах столь вольной трактовки их святыни.

Итак, когда Господь произнес «Эго», в сознании моем свет отделился от тьмы, как в первый день сотворения, и суть, проявившаяся вослед Слову сказанному, осталась на темной стороне, ввиду соответствующих вибраций. И был День Первый.

Во второй же день создал Бог посреди тьмы (моего сознания) воронку, Черную Дыру, центр Эго, выделив темноту внутри темноты, сгустив ее за счет вращения, установив центростремительный тягой жгут самости. И был День Второй.

На третий день уплотнилось Эго до тверди Гордыни, покрылось водами безразличия и ошетинилось ростками гнева. И был День Третий.

На четвертый появились над твердью Гордыни антиподы светил небесных, черные поры страхов, всасывающие жиз-

ненные силы и выталкивающие зловонным дыханием судороги, спазмы и безволие. И был День Четвертый.

На пятый день вошли в воды безразличия обитатели: сонливая, пятающаяся лень, хищное, зубастое себялюбие и придувленная толщей вод не-любовь в панцире. Закончился День Пятый.

Наконец на шестой день появился Человек, Адам, вытянувший на Свет Божий из тьмы черный жгут, который оказался Змием-Искусителем (кстати, весьма спорный вопрос – кто кого тянул из норы). Адаму казалось, что он крепко держал гада за скользкий хвост, Ева, чуть позже, начала утверждать, что не виновата, он сам пришел, а пресмыкающийся только молча посверкивал угольками лукавых глаз. Прошел День Шестой.

## 5

Адам не был модником, но в глубине души чувствовал (а вот почему так, вопрос не ко мне), что зеленый фиговый листок, прикрывающий его пах, лучше бы смотрелся в черном цвете, только вот черного в Раю не существует.

# Три кита

1

– Этот Мир прекрасен, но не устойчив, – сказал Бог.

И Адам совершил грехопадение.

– Зачем я сделал этот Мир таким? – спросил Бог.

– Затем, – ответил Он сам себе, – что в оплату неустойчивости Я даровал Миру Свободу выбора.

И в тот же миг Адам покинул Рай.

– Что же дает Миру, а значит и Мне, Свобода выбора? – спросил Бог и снова ответил себе: – Возможность совершать то, чего Я не могу совершить, грехопадение, но не напрямую, а через детей моих.

И в ту же секунду Каин убил Авеля.

– Но процесс отказа от самого себя, – сказал Бог, – лавинообразен, что есть цепная реакция.

– Поэтому, – ответил себе Бог, – я добавлю этому Миру еще две, помимо Свободы выбора, опоры для устойчивости. Один канал – Канал Бога, опора Веры, заполненная Мной, моей энергией; второй канал – Канал Анти-Бога, пустая опора, и да войдет в нее любая энергия.

– Как ты видишь себе это? – спросил Бог.

И тогда ответил Бог Богу: – Канал Свободы выбора будет

обслуживать Бога (для самопознания), Канал Бога будет обслуживать (поддерживать) Человека, Канал Анти-Бога будет питать того, кто подключится к нему, и питательной средой станет Человек, как для Человека пищей станет Бог. Система из трех опор призвана энергетически балансировать сама себя. Да будет так, Аминь.

## 2

Все, что вибрирует выше, есть Рай, все, что вибрирует ниже – Ад. Любое существо, наделенное интеллектом, «смотрит вверх» с вожделением, у каждого имеется свой Рай и желание войти в него без потери имеющегося уровня вибраций Эго, то есть избегая изменений своей сути.

Мы не рассчитывали, что наш Рай сам откроет Врата, точнее, что Абсолют выставит в него свободный канал, и, когда это произошло нам, существам, лишенным от сотворения внутреннего Огня Абсолюта, не оставалось ничего другого, как втянуться в него и войти в сферу вибрирующих в Огне.

Было ли это нашим выбором? Нет, канал Свободы выбора действовал вне присущих нам «колебаний», так было решено и создано Высшим Управляющим Сознанием и нам незаслуженный Рай постепенно оборачивается наработанным Адом.

Одухотворенное человеческое существо, потребляемое

нами, рептилоидами, «в пищу», оказалось ядом. Восхитительные райские кущи несли в прохладной тени скрытую угрозу для незваных гостей. Мы, ступившие на «благодатные луга» против воли обитателей, кололи стопы, защищенные грозной чешуей, о шелковые травы, в которых человеки нежились и отдыхали. Мы, втиснутые одной рукой Абсолюта меж створок Врат, распахнутых другой Его рукой, сжигали соком райских яблок луженые желудки, когда человеческие младенцы с тонкой и нежной кожей жмурили глаза от удовольствия, потребляя те же плоды.

Мы входили в тела аборигенов, но райские цветы жалили шипами наши почти человеческие длани, безошибочно узнавая подмену.

Сброшенные нами хвосты волочились следом аурическими шлейфами, которые цеплялись за корни райских деревьев, а чешуя, обтянутая гладкой, розовой кожей, темной кольчугой кокона биополя выдавала нас шаманам и жрецам.

Мыслим ли мы, как человеки? Нет, мы заставляем человека мыслить по-нашему через блокировку канала Веры или подменяя Абсолютную Силу на Силу Средств, доставляющих удовольствие оболочкам. Центр человека, называемый им душой, а нами – Огнем Абсолюта, не обмануть, оболочка же способна на подмену. «Переключение» Канала Абсолюта, или его полная блокировка, требует энергий, которыми мы не обладаем. Нужный ресурс «забирается» нами в аванс, в кредит, это наша карма, наша ответственность в будущем,

но в общей Идее Творца бытия трехканального Мира наша роль пассивна, мы – инструмент и рассчитываем, в качестве компенсации, на трансформацию кармических вибраций в более высокий ряд.

Технически «переключение» было осуществлено переводом человека из двенадцатирядной системы счисления, свойственной Каналу Сотворения, в десятичную, присущую Каналу Потребления. Нам удалось две основные подмены: заставить Человека считать (а не чувствовать) и считать, как мы (с более низким уровнем вибраций), оставив только пальцы на ладони, но выбросив из счета саму ладонь.

Сознание, привыкающее к расчетам как принципу восприятия бытия, прекращает медитировать, то есть отключается от Канала Абсолюта и «прилипает» к нашему Каналу. Расчетливое сознание лишается абстракции мышления, и свобода выбора подобного носителя может без труда контролироваться нами, «выгода» созвучна нам, «жертва» вне органов нашего восприятия.

Акт самопожертвования ослепителен (в физическом смысле) для нас, существо, приносящее себя в жертву, не видно глазу рептилоида, даже защищенному роговицей. Иисус Христос в нашем сознании только Имя, метафизически – это звезда из другой Галактики. Его сходжение в Канале Абсолюта переформатировало Канал Свободы выбора качественно, а восхождение (человеки говорят – вознесение) – количественно. Много больше душ после этого «вспомни-

ли» обещанное и сделали выбор «осознанно».

Повторить подобный акт (энергетически) наш Канал был не способен, и для покрытия большего количества душ Канал Анти-Абсолюта пришлось «растягивать» в Сеть. Канал Абсолюта связывает людей через энергии Веры естественным для душ, осененных Огнем Абсолюта, образом. Сеть, созданная нами искусственно, поддерживается энергиями индивидуумов путем ее отбора. Это наше творение, соответствующее эволюции нашего сознания посредством воздействия на Канал Свободы выбора. Мы таким способом, не имея возможности выбора, можем влиять на выбор, мы стали существами, лишенными определенных органов, но сотворившие себе протезы, низшие (в смысле потенциала), сумевшие взять в управление высших, кукла, призванная болтаться на нитках, вдруг завладела руками кукловода. Мы стали высчитывать, кто позволил допустить это – Абсолют (Его Канал) или Человек (Канал Свободы выбора) – и пришли к выводу, что ни один из них по отдельности, но в комбинации всех трех опор Мира. Создатель, в своем непостижимом стремлении к самопознанию, «нажал» (и вряд ли произвольно) одновременно три клавиши и получил звук, а далее позволил себе «перебирать пальцами».

В нашей эволюции мы подчиняем себе людей, понижая их потенциал, но готовы подчиниться им, пойдя на повышение своего.

После изменения сознания люди спокойно идут на

подмену оболочек. Сначала мы забираем «двойника» в эфире, запечатываем Огонь Абсолюта в энергетическую капсулу, а затем рептилоид «входит» в физическое тело на молекулярном уровне, ДНК человека «глушится», ДНК рептилии «озвучивается». Мы делаем свою работу (наш Контракт) хорошо, Контракт человек нам не известен, как и замысел Абсолюта. Остановить процесс поглощения может, по нашим выкладкам, только второй акт пришествия человеческой звезды, Иисуса, пустить же поглощение вспять – исключительно вознесением каждого (человека).

Я, Моррох, чей истинный облик отличен от тебя, человек, настолько, что яви я себя «не прикрытого», не поверишь глазам своим, передал тебе эту информацию с единственной целью, дабы понял ты: не мы причина дуальности Мира, но мы ее вторая часть, ты же, человеческое существо, – первая.

### 3

Вряд ли читателю удастся представить себе что-то более нелепое, чем взявшийся философствовать художник, хотя примеров тому немало, и все они только подтверждают выше озвученную мысль о тщете подобного симбиоза. Но видит Бог, философ, взявший в руки кисти, становится явлением скорее опасным, нежели комичным. Только представьте, как на вопрос об устройстве мира убеленная сединами голова отрывается от стопы фолиантов собственного сочинения и



подбрасывает из-за стола изнуренное, нетренированное тело к мольберту, и вот уже крепкие, натруженные пальцы человека, привыкшего много писать, сжимают кисть, а «горящий» глаз выбирает из имеющейся в наличии палитры нужный цвет. Зайдем незаметно за спину этого рыцаря разговорного жанра, вооруженного копьем с мягким наконечником, и взглянем на его творение.

Философ, натянув на лысину берет художника, а это, поверьте, гораздо важнее диплома об окончании соответствующего училища, смело тычет кисть в красный цвет и, навертев на щетину побольше краски, ставит с размаха жирную точку в центр холста.

– Что это, любезнейший? – спрашиваете вы из своей за-сады.

– Это Мир, – философ, простите, сейчас художник, удивленно оборачивается на голос: – Неужели не ясно?

– Нет, – честно отвечаете вы. – Мир огромен и многоцветен. А у вас?

Художник загадочно улыбается и, сделав шаг назад, прищурившись, любуется гениальным мазком.

– Вы рассуждаете узко, – нравоучительно произносит он наконец: – Мир – это вы (или я), это точка, а все, что вы видите вокруг, – периферия для вашего обслуживания. Так чувствует каждый и мнит себя Центром.

– Но даже если принять вашу точку... зрения, – примирительно парируете вы, – почему красный?

– Чтобы окружающие видели, это Центр, – художник улыбается. – А для привлечения внимания красный – то, что надо.

– Но пока я вижу, что ваш (или мой) Мир висит в пустоте, а ведь он должен на чем-то зиждиться? – вы начинаете подыгрывать чокнутому «двуликому Янусу» от философии и живописи.

Тот согласно кивает головой: – На трех китах. Сейчас накидаю. И, вытерев тряпкой кисть от красной краски, задумавшись на секунду, выдавливает на нее тюбик с белилами, после чего ставит под красную точку (а это, как вы помните, целый мир) едва заметную на холстине кляксу.

– Это и есть кит? – усмехаясь, спрашиваете вы.

– Да, Белый Кит, – философ любовно смотрит на работу художника и, снова обернувшись, кивает вам головой: – Желаете пояснений?

Вы, конечно же, желаете.

– Белый Кит – Любовь Бога к Человеку, чистая, крепкая, непоколебимая, стержень Мира, если угодно.

– Тогда понятно, – киваете вы в ответ, раздумывая о странной особенности всех психов иногда говорить правильные вещи.

А ваш собеседник тем временем, поставив возле первой кляксы точно такую же, тянется к черной краске.

– Еще один белый кит, – разочарованно произносите вы, но мастер, зацепив на кончик кисти густой черноты, уже на-

носит ее на выпуклое пузо второго кита.

– Это Черно-белый Кит, – торжественно сообщает он.

– Я снова в недоумении, – говорите ему вы, справедливо ожидая самых неожиданных интерпретаций «нарисованного».

– Это Пятнистый Кит – Вера Человека в Бога, шаткая и переменчивая, как видите, двуцветная. Когда больно и страшно – белая, когда сыто да богато – черная, – философ с удовольствием «занимает» место художника.

– Но есть еще третий кит, – подталкиваете вы к работе замечтавшегося мастера.

– Да, – художник с силой растирает черно-белую кисть с другой стороны белого пятна: – Серый Кит.

И, не дожидаясь моей уже привычной просьбы объяснить, голосом профессора филологии продолжает: – Это противовес Вере, Пятнистому Киту. Серый есть отражение Черно-белого в динамике бытия. Цвета его перемешиваются в зависимости от состояния оппонента, он компенсирует качающееся отношение Человека к Богу. Крепче Вера – светлее Серый, слабее – Кит становится черным.

– Сложноватая картина Мира, – задумчиво (а возможно, и беспечно) вставляете вы.

– Страшноватая, – отвечает художник и, сняв берет, окончательно превращается в философа: – Ибо нет Веры совсем, и по бокам Белого Кита встают два Черных, которые и потопят Мир.

– А вариант с тремя Белыми Китами ты не рассматриваешь? – спрашиваете вы в надежде.

Философ (или художник) грустно улыбается: – А при трех Белых Китах не может быть Красной точки.

# Время не пришло

1

Вы совершаете последовательность действий (включая и бездействие) в условиях личного бытия и пребывая в текущем процессе, как правило физико-химического обмена с окружающей средой, определяете эти события как Сейчас, предшествующие им «помещаете» в Прошлом, и, соответственно, все, что последует за «Сейчас», нарекается Будущими рядами энергообмена. Отсюда напрашивается вывод: Время – категория умозаключительная и при этом, несмотря на определенный человечеством счет времени, индивидуальная. Хронос угождает каждому и проворачивает шестерни своего тонко настроенного, удивительно выверенного, но невидимого механизма в соответствии с внутренним ритмом души, поставившей подпись в Контракте, исходя из количества совершенных (естественно, в «будущем») необходимых действий.

Действительно, представьте себе стабильную, не отклоняющуюся ни на дюйм, всегда неизменную круговую орбиту вашей сферы обитания вокруг материнского светила (чего уж проще, таких миров не счесть). Времена года, а значит, и календари, фиксирующие их смену, не существуют в такой

«природе», а если вдобавок лишить Сферу вращения вокруг своей оси, вы остаетесь без дня и ночи (вернее их периодики). Ну и добавим еще чуть мрачной экзотики: Сфера вместе со Светилом «болтается» где-то на задворках Вселенной, вдалеке от многочисленных галактик, то есть звезд на небе не видно, относительно вас никто и ничто не перемещается. Чему будет равно Время?

А вот и нет, не нулю. Энергия, в том числе и «застывшая», имеет потенциал Божественный, а значит, бесконечный. Если вокруг и внутри вас не происходит ничего, не пугайтесь, конец света не наступил, просто Время не пришло.

## 2

Вы думаете, речь пойдет о времени? Нет, речь пойдет о памяти. Помнить – значит уметь обращаться с энергией, которую человек называет Временем. Все знает, а стало быть и помнит, только Создатель. Но Он, разделив часть Себя на более мелкие части (души) «раздал» и часть этой энергии Детям Своим. Люди же, не научившись полностью владеть Временем, не «возвращают» энергию Родителю, Отцу Небесному. Это «нейтральное» количество Времени и использует Антимир, искажая Замысел, «создавая» иное будущее. Ему выгодно «размытие» Сейчас в Было и Будет. Будущее, как понятие, формирует поведенческую отсрочку в сознании человека, альтернативную Свободу Выбора.

Пресловутые поиски Грааля – фикция, каждая душа и есть Сосуд, наполненный Создателем до краев, но «забытая», невозвращенная, она (энергия) опустошает чашу души в пользу альтернативных сил. При открытом Граале процесс самопознания Богом себя прекращается, свободное течение энергии Времени не позволяет душе совершать «грехопадение», то есть вспоминать. Поэтому поиски Грааля, вспоминание души, важно для Создателя (перед воплощением душа лишается памяти, происходит закупоривание Сосуда).

Когда же Грааль открыт (в тонком плане), запускается процесс самопознания душой себя, а именно анализ содеянного в физическом мире.

Но трактовать сказанное как то, что человеческое существо познает себя после смерти, а при жизни позволяет Богу познавать себя, не следует. Да и вообще, рассматривать человека как инструмент Всевышнего – ошибка. Человеческое существо, один из бесконечных видов эманаций Творца, есть Дитя Бога, Его возлюбленный ребенок и подобно тому, как мы видим в своих чадах и самих себя, и собственные ошибки, и реализацию несбывшегося, и взлеты, и падения, так и Бог через детей своих учится Сам у Себя, познает Себя, расширяет собственный Мир.

Может ли в течение воплощения человек «откупорить» Сосуд души, «сорвать» сознанием пробку, блокирующую полную Память? Находясь в парадигме текущего, линейного Времени, то есть определенной последовательности энер-

гообмена с миром (совершаемых действий), это невозможно. Простой пример: Высшая духовность, позволяющая открыть Сосуд Памяти, именуемая в проявленном плане святостью, не рассматривает заповеди по отдельности, но исключительно вкупе. Пока «обычный» индивидуум следит за тем, как бы не украсть, тут же возводит себе кумира (как правило, самого себя), старательно соблюдая «не убий», запросто прелюбодействует или лжесвидетельствует. Далее можете потренироваться в комбинаторике грехопадений самостоятельно. Святой же «накрывает» свое сознание куполом из всех десяти пунктов одновременно. Так прожил Иисус. Он «вскрыл» все печати и вознеся, покинул Сосуд, излился, если так можно выразиться, из него обратно, в объятия Отца Небесного, в первоначальную субстанцию, соединившись с Господом Богом.

Подобное стало возможным потому, что Время Иисуса, как энергия, пришло. Новорожденным (точнее, новоявленным) младенцем в яслях Иисус уже знал о сорока днях в пустыне, о Гефсиманском Саде и Тайной вечере и прекрасно «видел» свое Распятие. Все тридцать три земных года, секунда к секунде, стояли пред его сознанием, и это было не будущее Христа, но Его Сейчас.

В вашем Сейчас – прочтение этих строк с возможным позевыванием, параллельными мыслями о еде, погоде, да и мало ли еще о чем-то важном (воистину) для вас, на фоне частичного вспоминания о прошлом и абсолютно неясном бу-



душем. Отчего так? Время не пришло (напоминаю еще раз, не как понятие, а как энергия).

Человек разбалансирован со временем (хочется сказать, что по вине социума, но на самом деле здесь задействованы другие механизмы). Будучи «отключенной» от собственной памяти, душа (в плотной оболочке) сама дробит эту энергию на дискретные части: вчера, сегодня, завтра. Сфера сознания (именно сфера) разворачивается на отдельные сегменты и выстраивается в линию. Для чего? Это необходимое упрощение и более ничего. Частица Всезнающего Бога, человеческая душа, сама всезнающа. Какой смысл усаживать седовласого профессора за парту начальных классов? Никакого, если рассуждать категориями линейного времени, но в далеком прошлом вьющиеся густые черные волосы покрывали чело юноши, старательно выводившего неверной рукой первые цифры на бумаге. В тот самый момент Время профессора пришло, именно тогда, а не в день получения степени. Не понятно? Баланс сознания с интересующей нас энергией человек имеет (краткосрочно) много раз в жизни – в момент создания Намерения, Время в этот миг «выравнивается», и индивидуум может успеть заглянуть в Память (Сосуд открыт). Размер (энергетический) Намерения определит, как долго будет распахнут ваш Грааль. В эту секунду Бог радуется, ибо получает «ответ» от Сына Своего, а неразумное дитя «вспыхивает» со-творчеством. Удерживать это состояние – значит управлять энергией Времени, что, в свою оче-

редь, приводит к бессмертию. Вот вам и ответ на вопрос, что есть эликсир долголетия, какова его «формула». Со-творчество, друзья, со-творчество. Библейские персонажи, знаковые для рода человеческого, в проявленном (да и не только) мире жили по двести-триста земных лет и это при полном отсутствии системы здравоохранения (хотя кому она нужна, когда ты, человек, пребываешь в системе Богоохранения). Если изложенное все еще не объясняет тебе, читатель, почему твое Время пока не пришло, обратимся к притче.

### 3

«Удивительная вещь – солнце, знаешь, что, взглянув на него, ослепнешь, но все равно пытаешься сделать это, манит, как запретный плод», – думал про себя худощавый загорелый мальчик, ловко перепрыгивая босыми ногами через острые камни, коими во множестве была усыпана узкая тропинка, взбиравшаяся на вершину холма. Столь здравые рассуждения, не свойственные юношам в двенадцатилетнем возрасте, помогали коротать одинокую прогулку в поисках сбежавшей накануне вечером молоденькой козочки.

Утром сосед сказал отцу, что видел белое пятнышко на холме, и мальчика отправили проверить, не их ли беглянка забралась с испуга так высоко.

Ближе к полудню вершина была покорена. Изрядно обесилевший мальчик на полусогнутых ногах облокотился на

кусок скалы, венчавший черной шапкой холм. Легкий шорох раздался с другой стороны камня. Попалась, глупышка, решил «охотник» и, собрав остатки сил, выскочил из своей засады. Разочарованию его не было предела: прислонившись к скале спиной, на корточках сидел древний старик в белых одеждах.

Теперь ясно, сообразил мальчик, вот что белело в глазах нашего соседа, полдня впустую.

Старик, дремавший доселе, открыл глаза и, казалось, совсем не удивился неожиданному посетителю: – Я скажу, где спрятаны сокровища, но возьму с тебя слово, что не прикоснешься к ним до тех пор, пока твоя борода не коснется земли.

Мальчик удивился столь неожиданному началу разговора, но не смутился: – Тогда я буду глубоким стариком, как ты, и для чего мне, немощному, золото?

Старик с наслаждением мартовского кота потерся спиной о шершавую щеку скалы: – Ты будешь богат сознанием, что оно твое и оно есть.

Мальчик усмехнулся: – Зачем мне осознание наличия того, чем я не могу воспользоваться сейчас?

Старик прищурился: – Но в будущем.

Мальчик совершенно не по-детски заметил: – Будущего может и не быть.

– Ух ты, – восхитился таким аргументом старик: – Как и сокровища, если я не скажу о нем.

Юный собеседник, подбоченившись, наморщил лоб: – А если я нарушу уговор и не буду ждать, пока волосы с моего подбородка защекочут пятки?

Старик заулыбался, явно довольный тем, как складывается беседа: – Тогда ты станешь богат, но беден.

– Дедушка, – мальчик уперся руками в колени и наклонился к старику: – Как же это возможно: быть бедным, купаясь в золоте?

– Предавший себя беден духом, – спокойно ответил старик и прикрыл веки.

Мальчик рассмеялся: – Но я предам тебя.

Старик, не открывая глаз, промолвил: – Предавая другого, предаешь и себя, душа такого человека не светится, ибо увешана лохмотьями нищего.

Мальчик задрал голову и взглянул на солнце, стоящее в зените. Яркая вспышка на сетчатке, казалось, очистила что-то в голове: – Твое предложение – искус?

Старик едва заметно улыбнулся: – Мое предложение – дар.

– Я должен подумать, – быстро рассудил юноша, вспомнив, как мать решительно учила ничего не брать у незнакомцев.

– Думай, – согласился старик.

– Я приду с ответом завтра, – пообещал мальчик, собравшись уходить.

– А что это «завтра»? – вдруг спросил старик.

– Вы шутите?

– Нет.

Мальчик подумал, как странно, стоя перед седовласым старцем, объяснять про завтра, но ответил: – Завтра – это Сегодня, но через ночь.

Старик удовлетворенно закивал головой: – Понятно, буду знать.

После чего затих и перестал шевелиться, вроде как даже и дышать. Вернувшись домой с неудачных поисков, мальчик в подробностях рассказал родителям о своей странной встрече. Отец, все состояние которого после исчезновения козочки уменьшилось ровно вдвое, был непреклонен: – Завтра идешь на холм к старику, узнаешь про золото, дашь честное слово и все, чего он еще пожелает. Мы станем богаты, наконец-то, – твердил он всю ночь, не в состоянии сомкнуть глаз от возбуждения, и успокоился только под утро.

К полудню наступившего дня мальчик стоял перед стариком, сидевшем ровно в той же позе и на том же месте, где и оставил его вчера незадачливый охотник за козами.

– Я согласен, – дрожащим голосом сообщил он седому благодетелю.

Старик с извиняющейся улыбкой на лице развел руками: – Вчера (это Сегодня, но ночь назад) приходил другой человек, сразу после тебя, и он согласился тут же и тут же, нарушив уговор, забрал золото.

Мальчик расплакался, сам не ожидая такой реакции от се-

бя. Пока крупные слезы катились без устали по щекам, он пытался понять: ему жалко утраченного богатства, в котором так нуждается его семья, или ту душу, что вмиг обеднела, предав себя. Когда юноша вытер рваным рукавом слезы, он увидел перед собой улыбающегося во весь беззубый рот старика.

– Ты стал первым, кто решил подумать, остальные, а их было великое множество, соглашались (и обманывали) сразу. Я благодарен тебе за то, что ты показал мне Завтра, ибо до этого момента (вчера) все происходило Сегодня, и я впервые в жизни пережил ночь, испытав ее прохладу и узрев красоту звездного неба.

Мальчик широко раскрыл глаза от удивления: – Так у тебя еще остались сокровища?

Старик поднял руки вверх: – Сколько угодно, но какой прок от них, если, сидя на сундуках со златом, ты застываешь в одном дне, когда Мир уходит дальше?

– И что, те, кто обманул, тоже застыли?

Старик кивнул головой: – Как мухи в куске расплавленной смолы.

Он хихикнул: – Якорь слишком тяжел, команда не в состоянии вытянуть его на палубу.

– Неужели, – разочарованно протянул мальчик, – лучше быть бедным?

Старик устало прикрыл веки: – Да, лучше быть бедняком, знающем о Завтра, чем богачом, не имеющим его.

P. S. Если притча то же не ясна (признаюсь, мне вообще ничего не понятно), тогда точно – Время не пришло.

# Отражение

Я появился на свет с особенностью, которую и скрывать-то не приходилось, ибо она сама некоторое время скрывалась от меня. Думаете, речь о каком-нибудь врожденном пороке, скрытой болячке, причине, спящей до поры до времени, что в один «прекрасный» момент как гром среди ясного неба вырывается наружу перекошенным лицевым нервом, бельмом, растекающимся по глазу, или вредоносными клетками, пожирающими изнутри совсем юную плоть? Во-все нет. Особенность моя дала о себе знать в тот день (вернее сказать, в тот же час на следующие сутки), когда родительница моя решила запечатлеть свое ненаглядное чадо навечно, или сколько там хранятся фотографические снимки. Она, нарядив, словно был праздничный день, отвела меня в небольшую, пахнущую старым, осыпающимся бархатом и едким нафталином комнату с плохо нарисованными горами, не существующими в природе кучерявыми волнами и фруктовыми деревьями, место которым скорее в Раю, нежели на грешной земле. Напыщенные воины, длинноволосые русалки, томные дамы в белоснежных шляпах и джентльмены в цилиндрах, изрядно смахивающих на дымовые трубы линейных кораблей, а также иные персонажи, разместившиеся на картонных ширмах, уставленных вдоль стен ателье (так име-



новалась странная комната), не имели лиц. Грубо вырезанные дыры угрожающе смотрели на посетителей, безмолвно вопрошая: – Зачем пришел? Ты, обладатель настоящей физиономии, здесь чужой.

Меня усадили на стул, двумя винтами, впившимися в виски как пиявки, зафиксировали голову, и весь мир, оставшийся за дверью картонно-неправдоподобного ателье, сузился до размеров черной точки объектива.

– Малыш, – обратился ко мне вертлявый, дерганый хозяин этой безликой армии русалок и наездников, – смотри прямо, – (как будто я мог посмотреть, зажатый его железными клещами, куда-то еще), – сейчас отсюда вылетит птичка.

Как я и предполагал, обладатель подобной внешности оказался банальным обманщиком. Никакой птички ниоткуда не вылетело, где ей, бедной, взяться в этом вонючем мире из папье-маше.

Когда дверь ателье захлопнулась за нами, я с удовольствием вдохнул свежего, настоящего воздуха, а маменька радостно залепетала: – Ну вот, фотографии будут готовы уже завтра.

Кабы знать заранее, что принесут мне эти карточки, подготовился бы к грядущему событию, но в тот момент меня интересовала рогатка, спрятанная во дворе дома, а на все остальное было наплевать, причем смачно.

Следующий день наступил, как и положено, в соответствии с положением Земли относительно Солнца. Матушка

с утра отправилась к странному господину, заглядывающему через свой аппарат, по всей видимости, прямо в душу клиентам, и через некоторое время вернулась, ослепительно сияя всем своим существом и прижимая к груди небольшой конверт. Не сбавляя улыбки, и так растянутой донельзя, она вручила мне долгожданный (не мной, ею) портрет. То, что я увидел, потрясло меня в прямом смысле слова: – Мама, кто это?

Улыбка грохнулась на нижнюю челюсть родительницы подобно мостовому пролету, вдруг по какой-то неведомой причине лишенному обеих опор.

– Ты о чем, сынок?

Я ткнул пальцем в физиономию совершенно незнакомого мне мальчика: – Я об этом.

Судя по лицу маменьки, на фотографии точно был я (по ее мнению), но то, что видел я в собственных отражениях до этого момента, кардинально отличалось от снимка.

Думаю, в тот раз родительница списала мою странную реакцию скорее на жаркую погоду (перегулял на солнышке), нежели на неуместную шутку или умственную недостаточность, тем более что в ней за свои пять лет пребывания в этом мире замечен не был.

Я же, как это не прискорбно для столь юного индивидуума, осознал, что, глядя в зеркало, вижу себя иным, нежели являюсь на самом деле. Можно обалдеть? Да запросто, ваше мнение о собственной красоте, оказывается, расходится со

взглядами окружающих по этому поводу.

Годы шли, я понемногу свыкся с необычной особенностью, стараясь не попадаться людям на глаза своим «отражением», и научился определять свое «положение» в окружающем мире по фотографиям. Да, да, мне пришлось стать навсегда не стадионов или кабаков, а ателье. Люди начали считать меня себялюбцем, павлином, нарциссом. Какими только эпитетами не снабжали они (естественно, за глаза) мою измученную врожденной дуальностью душу, а я всего лишь пытался, пусть и несколько экзотическим образом, остаться самим собой.

Думаете, я шучу? Увы, различия между зеркалом и проявленной бумагой с возрастом становились все ярче и заметнее. Два совершенно не похожих лица смотрели на меня, и я перестал понимать сначала, где я, а потом – кто я. Скажете, подобными вопросами озадачивается все человечество (по крайней мере, думающая его часть) от начала времен?

Но мое, и без того унылое положение усугублялось неприятными нюансами: я не понимал, улыбаясь в «отражении», растянули ли лицевые мышцы мои губы в этот момент в настоящем мире. То же касалось проявлений любых эмоций на каждой стороне моего бытия. О, нестерпимая мука, крик от боли Здесь, иметь каменную мину Там, или, того хуже, встретив интересного собеседника Там, импонировать ему Здесь, но зевать при этом самым непристойным образом Там, то есть в том месте, где он был вынужден наблюдать

мою скуку.

Да полно людей живут именно таким образом, возразит моим стенаниям читатель. Может быть, но, теряя свое лицо перед самим собой, перестаешь видеть другие лица, не говоря уже об их чувствах. И как водится у большинства представителей рода человеческого, к коему не без оснований причислял себя и я, при возникновении устойчивого сопротивления собственной воле сдаваться воле волн и ветра, мне пришла в голову вполне традиционная мысль поискать виноватого, естественно, на стороне. После недолгих размышлений причиной всех моих бед был назначен ...фотограф. Маленький, вертлявый человек, с бегающими глазками и тонкими, нервными губами, вечно растянутыми в неестественной улыбке, кривизну которой подчеркивала нитка черных усиков.

Противный тип, думал я, вполне мог напакостить, подсовывая мне снимки других людей, убедив в этом сперва мою бедную матушку, а потом и меня. Чего уж проще, развивал конспирологическую теорию я: вы видите в собственном отражении прямой, тонкий нос, голубые, ясные глаза и высокий, благородный лоб, а вам тычут в лицо карточкой, на которой человек с орлиным «клювом», челюстью питекантропа и мелкими, да еще и косыми, карими глазками. Через неделю после очередного посещения ателье ваша (или не ваша) внешность меняется кардинально: нос округляется в картошку, из которой торчат редкие волосинки, а губы,

вроде бы еще вчера (как показывало зеркало) имевшие нормальный объем и рисунок, трансформируются в пару упитанных слизней.

«Гад», – сказал я себе и направился в ателье, которое посещал уже двадцать лет, с твердым намерением положить конец этой затянувшейся комедии, с точки зрения злоумышленника фотографа, и настоящей трагедии, на взгляд вашего покорного слуги. Мой «злой гений» встретил меня с распростертыми объятиями (еще бы, постоянный клиент).

– В неурочный час, молодой человек, – зашебетал он, – но тем не менее рад, очень рад. Присаживайтесь.

Старик засуетился, начал ставить свет и, как обычно, делать вид, что ищет куда-то запропастившийся магний, хотя коробочка с этим порошком всегда (сколько себя помню) стояла на одном и том же месте.

– Зачем вы выдаете снимки чужих людей за мои? – выпалил я, чувствуя, что мужество свое растерял по дороге и его остатки вот-вот испарятся окончательно.

Слегка опешивший фотограф замер у аппарата с разинутым ртом (глупейший вид, надо сказать). Я же, решив что крепость зашаталась, дал оглушительный залп: – Я в зеркале и на ваших снимках разный.

Пороховой дым развеялся, и стало ясно, что крепость устояла. Старик оправился от первого удивления и сейчас, совершенно спокойный, улыбался мне: – Ах, вы об этом. Здесь нет ничего удивительного.

Клянусь, если бы у картонных русалок были глаза, они бы выскочили из орбит от такой наглости. Настала очередь зашататься моим бастионам: – Вы считаете, что лицо на снимке и лицо в отражении не должны совпадать?

– А еще есть лицо на лице, дорогой друг, – развел руками мой оппонент, – и, к вашему сведению, есть лицо, которое я наблюдаю в объектив, – он поцокал пальцем по стеклянному глазу своего аппарата.

– И что, все они... – пробормотал я, едва справляясь с захлестывающей сознание пенной волной услышанного.

– Не похожи друг на друга, – закончил фразу старик, насыпая магний на полочку. Он жестом пригласил меня присесть на знакомый стул, я безвольно повиновался.

– Вы запутались, это ничего, попытаюсь объяснить с вами. Знаете ли вы, что испытываю я, разглядывая через толстое стекло объектива лица проходящих сюда людей?

Я отрицательно помотал головой, пока еще свободной от скрипящих винтовых клещей, хотя вопрос был явно риторический. Старик кивнул, как бы говоря: я так и думал.

– Чтобы вы поняли меня, – он удобно облокотился на ящик фотоаппарата, – поведаю вам о... душе. Не пугайтесь, не как священник, призывающий о ее спасении и тут же протягивающий чашу для жертвований, но как друг, открывающий бесценную истину, и заметьте, совершенно бескорыстно. Душа в проявленном мире чувствует себя, как и вы в первый свой приход сюда – вокруг все не настоящее и вдо-

бавок «безликое». По сути, это не ее мир, он чужероден ее тонкой натуре, и для пребывания в нем Творец придумал человеческое тело, некий скафандр, «капсулу». Душа путешествует в нашем мире, обремененном грубой, плотной материей, в этой самой капсуле.

Он похлопал себя по груди: – И наблюдает его через обзорное стекло.

– Человеческие глаза! – завопил я восторженно.

– Верно, юноша, – заулыбался вновь фотограф. – Через глаза смотрит душа на свое отражение в физическом мире.

– Так вы... – я вскочил со стула.

– Да, я захотел «примерить» на себя, каково это – смотреть со стороны, – тихо произнес старик.

– Но ведь вы смотрите не на себя, а на других, – логика странного человека была непонятна мне. Он не смутился моему возражению, напротив, подался вперед и чуть не свалил с треноги свой драгоценный аппарат: – Я и не могу смотреть на себя, я – слепой.

Земля разверзлась под ногами, и я вместе со стулом на несколько секунд повис в невесомости. Воздушная пробка застряла под кадыком, глаза едва удерживались зрительными нервами, вывалившись наружу, а пальцы захрустели, пытаюсь раздавить деревянные подлокотники. Слепой фотограф, долгие годы дурачивший весь город, это много выше всякого понимания, но то, что этот иллюзионист сформировал совершенно определенным образом мое сознание, бы-

ло не просто возмутительно. Шатающаяся до этого «залпа» крепость перестала существовать. Я задыхался, трясущиеся руки мои потянулись к морщинистому горлу старика, стоявшего покорно возле своей адской машинки.

– Так кто же я, по вашему мнению, милостивый государь, – хрипели мои переполненные гневом уста, – отражение себя или ваше отражение?

– Вы то, что видит ваша душа в своем отражении, когда вы даете ей взглянуть на себя, – старик стоял не шевелясь. – Но вы то, что видят в вас окружающие, даже когда вы не желаете показывать им себя.

В теперешнем моем состоянии разгадывать загадки старого идиота я был не намерен: – Как ты «видел» меня? – орал я в ухо сжавшемуся от страха фотографу. – Как выдавал снимки?

– Так же, как это делает душа, – старик отреченно «смотрел» сквозь меня.

– А как это делает душа? – я откровенно терял терпение.

– Она не видит форм и красок чуждого ей мира, но ощущает вибрации деяний и помыслов своей оболочки. Я улавливал теплоту разной интенсивности от всех клиентов и запоминал эти «образы», а проявив снимки, «вспоминал», какой из них чей.

Чертов старик запутал меня окончательно, что, впрочем, немудрено для персонажа, одурманившего половину города. Я был очень зол на него, но постепенно успокаивался, пони-



мая, что чудак творил свое «искусство» не во зло, он, как и все великие, так видел (Господи, это ведь я о слепом).

– Хорошо, – сказал я примирительно, – я не сержусь, но уж потрудитесь подсказать, какому отражению теперь мне верить?

Фотограф встрепенулся: – Отражение зависит не только от оригинала, но и от той поверхности, что возвращает твоим очам свет.

– Я регулярно протираю зеркало от пыли, – буркнул я, прекрасно понимая (как мне казалось), куда клонит старик.

– А как насчет людей, от которых ты отражаешься? – он загадочно улыбнулся. – Их протирать не пробовал?

Мысль показалась мне здоровой, но на всякий случай я связвил: – Захотят ли?

– А ты попытайся, мысленно, – голос странного фотографа приобрел твердые нотки.

– Как это? – недоуменно пожал плечами я.

– Возлюби ближнего своего, как самое себя, – многозначительно произнес старик, подняв вверх указательный палец правой руки.

– Где-то это я уже слышал, – усмехнулся я, подумав о том, что, вероятнее всего, мой то ли учитель, то ли мучитель прав.

– Слышал, да не видел. Хочешь, покажу? – веселым голосом пропел удивительный «обманщик».

– А как? – поддался я его бурной радости.

– Садитесь ровно, смотрите прямо и не шевелитесь, сей-

час отсюда вылетит птичка.

# На развалинах

*– ...В час, когда солнце на покой*

*Уйти готовится неспешно,*

*Ты, с непокрытой головой – ...*

Квакающее эхо (обветшалые стены, полностью оккупированные плющом, который нехотя пустил в свои владения кусты мальвы, уступив ей углы нефа и ступени главного входа, отражали голос с искажениями) сводило на нет пафос произносимого, и Поэт, запнувшись, потерял и ритм, и рифму, и мысль.

– Дьявол, – выругался он, пнув от досады лежащий на этом месте долгие годы камушек. Кремниевый снаряд, преодолев небольшое расстояние, плюхнулся на зеленый листик выюна, спугнув одну из многочисленных обитательниц развалин и по совместительству слушательницу «поэтического вечера», серо-коричневую ящерицу, которая уставилась на «агрессора» неподвижным и возмущенным взором черных глаз-бусинок.

Поэт, выдохнув, снова принял позу глашатая (выставил ногу вперед и воздел руку к небесам): – Ты, с непокрытой головой...

Эхо, какое бы оно ни было, отработало несколько циклов

и затихло. Продолжения не последовало.

– Ну что же ты? – раздался тихий голос за спиной.

Поэт, не задумываясь, кто вопрошает, и не оборачиваясь, с обидой в голосе ответил незнакомцу: – Евтерпа позабыла, как горят мои глаза, с чего бы вдохновенью опылить мои уста?

– Немного театрально, но, в общем, в рамках допустимого, – с усмешкой заметил голос. – Ну, вот я здесь.

Поэт по-военному крутанулся на каблуках (едва не потеряв равновесие) – перед его широко раскрытыми глазами сияла Муза, нежная, утонченная, прекрасная.

– Вручишь себя объятьям грешным, – закончил он четверостишие и выдохнул уже облегченно.

Ящерицы радостно заморгали (захлопали) рогами, изображая бурные аплодисменты, а Евтерпа еле заметно кивнула прелестной головкой в знак одобрения.

– Где ты была так долго? – в голосе Поэта опять зазвучала обида.

– Ты не один, поэтов много, – рассмеялась Муза. – Да и не мне отчитываться перед тобой.

Поэт насупился. Может, конечно, и есть другие, громогласно величающие себя настоящими поэтами, на самом деле являющиеся просто рифмоплетами, бездарями и халтурщиками. Видал я таких сотнями в кабаках: размахивают руками, орут свои плоские вирши, потом напиваются и рыдают в декольте девицам от того, что, видите ли, мир не понимает

и не принимает их.

– Дерьмо, – вырвалось у него вслух.

Муза: – Не забывай, что это Храм.

Поэт: – Скорее то, что от него осталось.

Муза: – Храм остается Храмом даже там,

Где вместо стен забвеньё и усталость.

Поэт: – Я думал, Храм – это перрон:

Билет купил (свечу поставил)

И сел с удобствами в вагон,

Чтоб к Богу вовремя доставил.

Муза: – Меж Богом и поэтом пустота,

Заполненная локоном девицы

И криком предрассветной птицы.

На каждого найдется простота.

Поэт бросил взгляд вниз. Храм строили на высоком холме, у восточного подножия которого небольшая речушка делала петлю и скрывалась в лесной чаще, конца и края которой не наблюдалось. С южной стороны все время дули теплые степные ветра, приносящие с собой для сиреневых цветков мальвы сказки темнокожих мавров о пещерах, полных золота, и яснооких девах, умеющих летать. К северному склону холма жался сосновый бор, и в песчанике, среди его обнаженных желтых корней, устраивали свои гнезда-норы непоседливые чайки.

– Евтерпа, – он обвел рукой то, что видел, – вот что между мной и Богом.

Муза широко улыбнулась, глаза ее, и без того лучистые, засияли еще ярче: – Между Человеком и Богом всегда что-то есть, у верующего это религия, перед служителем церкви – молитвенник, будто нечего ему сказать Творцу от сердца. Но Сына от Отца ничего не должно отделять, любому «препятствию» надобно быть «прозрачным».

– Но Он сам отделился от Человека целым Миром, – всплеснул руками Поэт. – Ты говоришь о Мире Бога, который, получается, мешает нам, живущим в нем по воле Всевышнего, видеть Его и быть с Ним. Это абсурдно.

– Муза на то и Муза, – загадочно произнесла Евтерпа, ничуть не смутившись.

– Что ты все время выводишь меня из себя? – Поэт хлопнул в сердцах ладонями по коленям.

– Чтобы заставить тебя смотреть на мир, а не на себя, хныча и причитая о пропавшем вдохновении, – Муза смотрела на подопечного ласково, как мать на обидевшегося по пустяку ребенка.

– Именно нечто «важное», что есть в жизни каждого перед лицом Бога (а самое важное – это Он), и разрушает Храм.

Она легонько толкнула ногой камешек, и он, потянув за собой соседей, шуршащей струйкой скатился со стены, раздавая звонкие пощечины возмущенным листьям вьюна.

– Привязанности, привычки, идолы, дело (как правило, всей жизни), имущество – все это термиты, выгрызающие изнутри стены Храма, – продолжила Муза. – Душа, облачен-

ная в тяжелые одежды, вынуждена беседовать с Богом через дымку (частенько напоминающую грозовую, плотную тучу) атрибутов физического мира.

– Но, воспевая Женщину, не превозношу ли я саму Любовь, а через описание красот природы не восхваляю ли самого Бога, Создателя этого Мира? – Поэт снова принял театральную позу:

Прости раба рабов твоих, Всевышний,  
Чьей грубой коже неподвластен тонкий бриз,  
Когда закрыл глаза, вкушая грозди вишен,  
И не узрел Тебя, спустившегося вниз.

«Браво» кричать не буду, – отрезала Муза, – но с рифмой у тебя наладилось.

– Что не так? – устало вздохнул Поэт, мысленно «прогоняя» по кругу только родившиеся строчки.

– Пустое самолюбование, очень низкий уровень вибраций. Если прочесть такое перед толпой голодных викингов, не поймут и, вероятнее всего, лишат жизни просто так, от скуки, – Евтерпа, воздев вверх сложенные вместе белоснежные тонкие запястья, опустила на голову незадачливого чтеца воображаемый боевой топор.

– Ты мне снова помогла, – коротко буркнул Поэт, обернувшись на блестящую под лучами солнца реку.

– Человек, – закончив «казнь», прервала Муза его задумчивое состояние, – видит предметы и явления, но не видит за ними или в них Создателя. Узрев же во всем Живого Бо-

га, люди не смогут причинять вреда никому и ничему, ведь это Сам Бог.

– Открой же мне врата в беспечный Рай,

Соедини с родительской рукою,

Путь укажи к душевному покою,

Водой Живой наполни через край, – восторженно возопил Поэт, и руины ответили ему гулким (и, как мы помним, прыгающим) эхом.

– Еще хуже, чем было, – Муза слегка повела бровью. –

Уважающий себя варвар не стал бы дослушивать до конца и прикончил автора после первой строки.

– И все-таки, – снова возбудился Поэт, усаживаясь на обломки стены, нагретые вечерним солнцем, – зачем явилась в столь трагический для меня час, принеся не надежду, но низкопробное, по твоему же мнению, вдохновение, от последствий которого воротит тебя саму?

– Не забывай, – лукаво ответила Евтерпа, поправляя локон, упавший на лоб, – я женщина.

– К черту эти ужимки! – взорвался по-настоящему Поэт. – Не многие ночи была ты подле меня, знать, «любовник» я никудашный, но и в те редкие минуты, когда сознанием обнимал нежный стан твой, слова не складывались в узор, а мысли – в звенящую струну.

– Все оттого, что видел (или вождедел) ты меня, а надобно было, я тебе уже говорила, Бога, – Муза указала рукой на губы, затем на лоб и на сердце.



– Ты искал Бога в словах, а Он – за словами. Сказано – не поминай вовсе, нежели упрощать и уплощать везде Имя Его, но уж коли произнес «Бог», потрудись увидеть Его во всем Величии, дабы не встали строки, тобой начертанные, неодолимым препятствием, стеной поднебесной, армией великой на Пути к Нему.

Поэт закрыл лицо руками, цикады враз ослабили мышцы и прекратили трескотню, а ящерицы, сновавшие без устали весь день, замерли, как по команде, завершив «последним штрихом» величественную мизансцену опустошенного человеческого разума.

Евтерпа исчезла, у муз так заведено: их появление и уход быстротечны, молчаливы и непредсказуемы.

Поэт взялся за перо (мысленно, конечно):

– Поток бурлящий умирняя  
Изгибом каменного дна,  
Ты выплеснула плоть из Рая,  
Оставшись в пустоте одна.

Раздался шорох. «Вернулась», – радостно решил Поэт и, обернувшись, произнес: – Недолго ты...

В дверном проеме (о том, что в этой части каменной кладки раньше находилась дверь, можно было догадаться по ржавой, полуистлевшей петле, зажатой двумя нижними венцами) стоял Каменщик, крепкий мужчина среднего роста, с плечами атланта и глазами ягненка.

– Пустое это, – сказал он просто.

– Что именно? – изумился Поэт то ли его появлению, то ли его фразе.

– Храмы обычным сотрясанием воздуха не восстанавливаются, – Каменщик показал раскрытые мозолистые ладони.

Поэт взглянул на свои бледные, почти белые руки – скорее намек, чем настоящее уплотнение, слегка тронуло подушечки большого и указательного пальцев правой кисти.

– Зовете меня в подмастерье? – спросил он, криво улыбувшись, у Каменщика.

Тот молча кивнул.

– Ничего не выйдет, – Поэт уселся на стену, закинув ногу на ногу, – не приучен.

– Как и всяк, пришедший в этот мир неосознанно, – спокойно отреагировал на возражения Каменщик.

– Из речей твоих следует, что ты здесь осознанно, – встрепенулся Поэт и даже поднялся на ноги.

И вновь утвердительный, но молчаливый кивок был ему ответом.

– Почему я должен выпрашивать у всех объяснения? – излишне эмоционально произнес Поэт. – Что за мода?

Каменщик, улыбувшись, спокойно заметил: – Не волнуйся так, я расскажу тебе.

Он огляделся и, заприметив нужный ему камешек, поднял его.

– Неосознанный мастер хватается за работу бездумно. Начав кладку Храма таким манером, он вынужден каждый по-

следующий камень подбирать к предыдущему, размер и кривизна поверхностей должны совпадать и образовывать пару, иначе в стенах появятся щели, а сама кладка будет ослаблена. Таких «пар» под рукой может не оказаться, поэтому придется их выискивать, на что тратится уйма времени, да и терпения, как правило, неосознанному зодчему не хватает. Поэтому Храм у такого каменщика выглядит скорее как руины, вместо стройности гармоничного архитектурного творения.

– Где отроку набраться мудрых слов,

Когда днем лень, а ночью не до снов,

– съязвил Поэт, припомнив собственные юные годы.

– Вот и я о том же, – подхватил серьезно Каменщик. – Строительство Храма (читай, самого себя) ведется из добродетелей, а у человека на Пути сплошные соблазны да пороки – в кладку они не годятся.

– Отчего же? – радостно заметил Поэт. – Веселенькое заведенъице получилось бы.

– Оно и выходит у большинства, – строго сказал, нахмурившись, Мастер, – целые дворцы с башнями, зубчатыми стенами и хозяйственными постройками, где ж тут место для Храма.

– Но ведь мир таков. И не наш он, а Создателя, – Поэт развел руками. – Не Он ли наполнил его игривостью вина, женским смехом и мягкими подушками?

– Истину говоришь, – согласился Каменщик, – все Его: и женщины (в смысле очарования), и подушки (в том же

смысле), – так Он создал многообразие Путей, но есть ты (душа), свободный в выборе своем.

– Наめкаешь на осознанность? – Поэт, не отрываясь, смотрел на собеседника.

Мастер бросил поднятый камень на землю: – Да. Осознанный каменщик видит заранее свой Храм, знает его размеры и форму, поэтому не начинает возведение стен, пока не соберет нужные камни, все до одного.

– Пройден финал у пьесы,

Ревет восторженно зал,

А я ничего не понял

И «браво» не прокричал,

– скривившись, продекламировал Поэт.

Каменщик не удивился, видимо, начинал привыкать к манере стихоплета вставлять рифмы в обычную речь.

– Хотите, открою секрет осознанного зодчего? – негромко спросил он.

– Будьте любезны, – откликнулся Поэт.

– Когда вы понимаете, как должен выглядеть ваш Храм, я настаиваю – именно ваш Храм, вы не собираете по всей округе, включая и дальние ее пределы типа тридевятого царства, подходящие камни.

– Неужели мне их кто-то привезет? – игриво вставил Поэт.

– Вы обтесываете имеющиеся рядом с вами, здесь, своим инструментом, – Каменщик вытащил из сумки долото и мо-

лот.

– Вот мои всегда со мной.

– Каков же инструмент мой? – искренне удивился Поэт.

– Сознание, – коротко ответил Каменщик и, кивнув на прощание, исчез за обломками стен великого Храма, возведенного неизвестным зодчим, овеявшего его славой своих творений тогда, а ныне увитого ненасытным плющом, с нескрываемым раздражением отдавшим углы нефа и ступени главного входа надоедливой мальве.